

Ирина Ракша

ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР



Русская культура (Интернациональный Союз писателей)

Ирина Ракша
Звездный бульвар

«ИП Березина Г.Н.»

2019

УДК 821.161.1
ББК 84(2 Рос=Рус)6

Ракша И. Е.

Звездный бульвар / И. Е. Ракша — «ИП Березина Г.Н.»,
2019 — (Русская культура (Интернациональный Союз писателей))

ISBN 978-5-907042-68-1

Более полувека я работаю в литературе. И могу назвать эту книгу своей «визитной карточкой», как как в ней основные «черты» моего творчества. Разных объёмов и жанров. Но всё это – я. В каждой строке, каждом слове. Говорят, серьёзная проза, как и серьёзная музыка не стареет. Мой муж художник Юрий Ракша сказал: «Как в зеркало мы смотрим в мир и отражаемся в нём. Картины художника – это отражение мира, а, значит, и его самого. И потому в каждом произведении ищите художника, его СУТЬ, его отражение – он здесь...» Так что – читайте! И приятных Вам минут! Фотоматериалы из личного архива автора. «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?»

УДК 821.161.1
ББК 84(2 Рос=Рус)6

ISBN 978-5-907042-68-1

© Ракша И. Е., 2019
© ИП Березина Г.Н., 2019

Содержание

Планета «Иринара»	12
Останкинские дубки	16
Голубочек мой ясный	28
Звездный бульвар	43
На 3-й Останкинской улице мы ловили ужей	43
На месте Звездного бульвара был глубокий овраг	44
Сбежала на целину	45
Я обожала Светлова	46
Юрочка взял мою фамилию	47
Самая звёздная в мире семья	48
...И ушла в солнечный день	49
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Ирина Ракша

Звездный бульвар

© И. Ракша, 2019

* * *

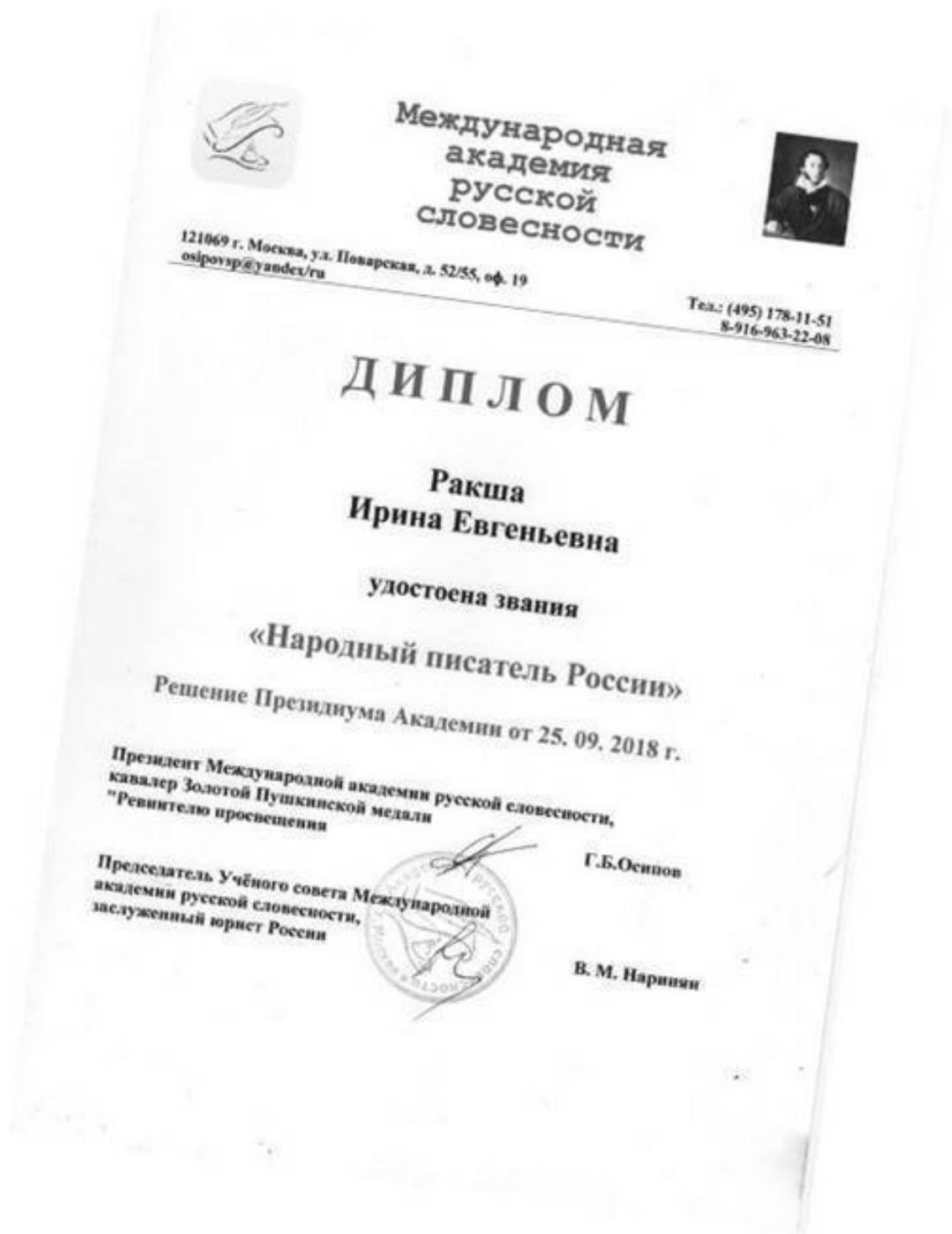


Более полувека я работаю в литературе. И могу назвать эту книгу своей «визитной карточкой», как как в ней основные «черты» моего творчества. Разных объёмов и жанров. Но всё это – я. В каждой строке, каждом слове. Говорят, серьёзная проза, как и серьёзная музыка не стареет. Мой муж художник Юрий Ракша сказал: «Как в зеркало мы смотрим в мир и отра-

жаемся в нём. Картины художника – это отражение мира, а, значит, и его самого. И потому в каждом произведении ищите художника, его СУТЬ, его отражение – он здесь...»

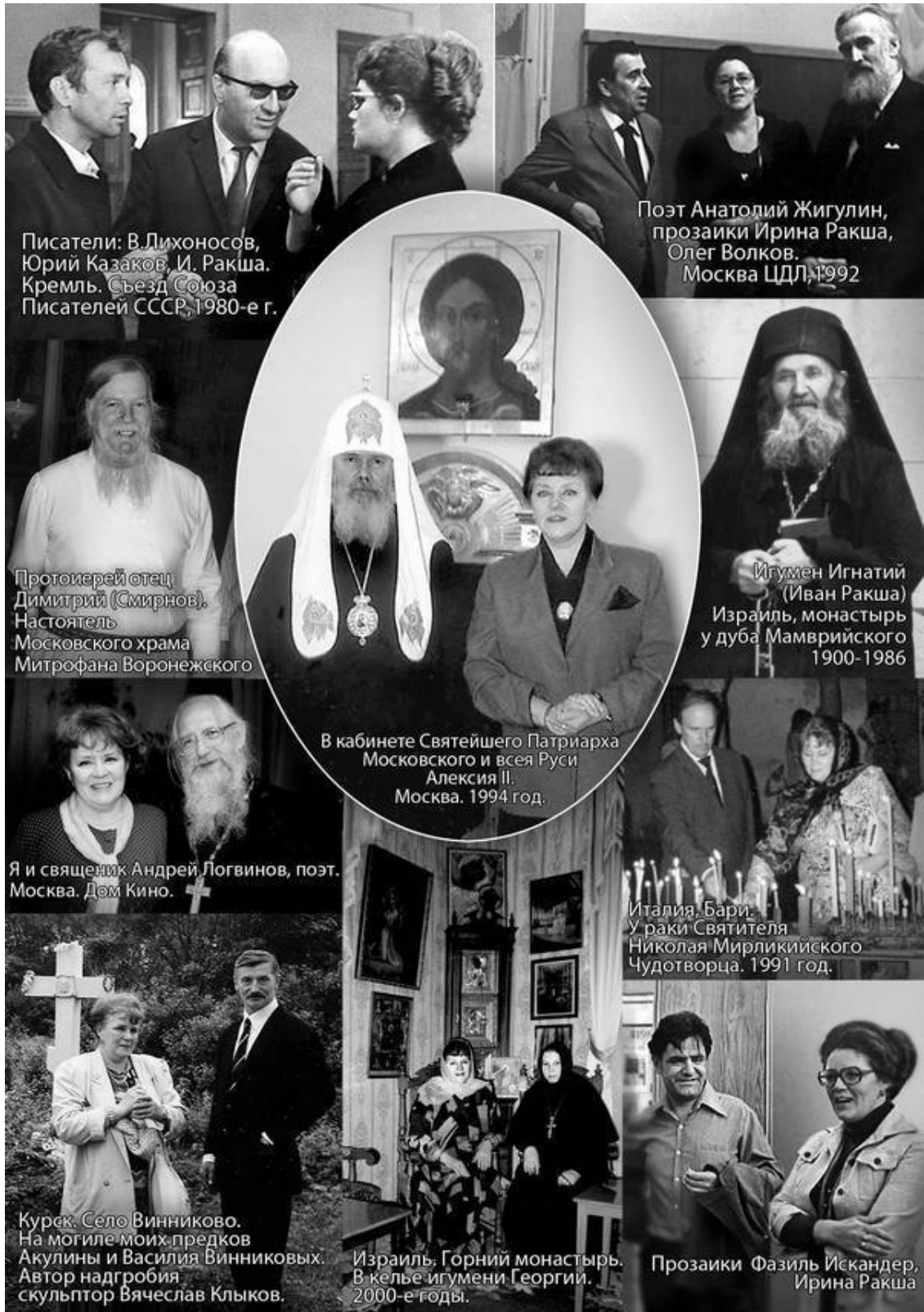
Так что – читайте! И приятных Вам минут!

-Ирина Ракша-











Планета «Иринара» (об авторе)

Ирина Евгеньевна Ракша – академик, действительный член Академии российской словесности. Писатель, кинодраматург, член Союза журналистов СССР и РФ (с 1965 г.), член Союза писателей СССР и РФ (с 1969 г.). Вдова художника Юрия Ракши (1937–1980), имела дочь Анну Юрьевну (член Союза художников РФ, скончалась 13 мая 2017 года. Инсульт).

Ирина родилась в Москве, в Останкино, в семье служащих. (Москвичка в четвертом поколении.) Родители, выпускники ТСХА (Тимирязевской сельхозакадемии), – агрономы. Детство её прошло на столичной окраине. Училась в средней (№ 271) и музыкальной школах. В 1955 году развод родителей стал причиной ее отъезда с поездом первоцелинников на Алтай, во вновь образующийся зерносовхоз «Урожайный», куда ранее был командирован из Министерства сельского хозяйства её отец. Там, в предгорьях Алтая, на берегу реки Катуня, рядом с селом Сростки – родиной В. Шукшина, и проходили годы юности будущей писательницы. (Этому переломному периоду жизни посвящен рассказ И. Ракши «Голубочек мой ясный».) В селе Грязнуха (ныне Советское) она окончила десятилетку, получила «серебряный» аттестат зрелости. Одновременно работала в совхозе почтальоном, учетчиком на лесоскладе, лаборантом на птицеферме и пр. Затем уже в Красноярском крае на станции Солянка, станции Уяр-Клюквенная – разнорабочей на железной дороге, корреспондентом газеты «Сталинец». А также в Туве, Хакасии, на станции Бискамажа. В дальнейшем в её творчестве романтические мотивы «железной дороги, товарняков, поездов, дальних странствий» особенно любимы.

«По алтайской степи на взмыленном коне пронеслась мимо меня амазонка. Так состоялось мое первое знакомство с семнадцатилетней Ириной Ракшой, – писал в 1963 году поэт-классик, профессор Литинститута им. Горького Михаил Аркадьевич Светлов. – Я приехал к её отцу – директору строящегося целинного совхоза. Я тогда никак не думал, что буду писать вступительное слово к её рассказам. Она тогда была никаким писателем, так же как я никакой наездник. Но я считаю, что недаром вспомнил об этой первой встрече. Потому что свойство Ирины – неутомимость в движении. Потому что – разбуди ее глубокой ночью и скажи: «В Ледовитом океане белые медведи соскучились по тебе» – она, надевая башмаки, спросит: «А туда как лучше добираться – поездом или самолетом?»

Великий поэт Михаил Светлов сердцем почувствовал то яркое, то порывистое и сердечное, что сохранилось в Ирине Ракше навсегда и окрасило все ее творчество. Люди Алтая, Сибири, Чукотки, люди сильной и чуткой души стали героями первых ее публикаций на страницах алтайских, сибирских, а затем и московских, центральных газет и журналов.

И вот что далее писал в статье о Ракше Светлов:

«Она исколесила Сибирь, не устала, а, наоборот, рвется в новые пространства. И эти её путешествия вовсе не для того, чтобы потом похвастаться: «Я была там-то и там-то». Нет, вовсе не для этого.

Есть два рода наблюдателей. Есть наблюдатели «ума холодных наблюдений»: «Вот я поеду в Париж, обязательно посмотрю на Эйфелеву башню, сбегаю в Лувр и, конечно, накуплю кой-чего из мелочишек».

А Ирина, скажем, поедет на Север, она поедет туда вовсе не для того, чтобы увидеть только северное сияние. Она поедет туда для того, чтобы увидеть и узнать чукчей под северным сиянием. Она умеет прекрасно видеть, и именно поэтому у неё так много в рассказах хороших деталей.

Не всегда в произведении нужен образ. Точная деталь часто заменяет образ. Точная деталь становится биноклем, приближающим предметы и делающим их выпуклыми. И тут не

нужны никакие романтические слова. Наоборот, бытовая деталь помогает романтике. Если бы я был сказочником, я бы первую сказку начал так: «Студент надел калоши и пошел в царство фей». То есть я бы к небесам пристегнул землю...

Я не буду вас утомлять многими её цитатами. Приведу только одну деталь и один совсем краткий диалог. «Но стрелочник отвернулся и, сунув флажки в сапог, пошел в будку». Больше нигде в рассказе этот стрелочник не появляется, но это «сунув флажки в сапог» делает стрелочника видимым и запоминающимся.

А вот диалог – разговор девушки и девчонки: «– Уехать бы куда подальше. Да вроде незачем. Платят хорошо.

– А я бы задаром по красоте такой ездила, – глядела вдаль девчонка».

Больше я цитат не привожу, потому что это не разбор творчества Ирины Ракши. Это только моё напутствие ей.

И я так обращаюсь к Ракше:

«Ирина!.. Я называю тебя талантливой. Смотри не подведи меня!»

Михаил Светлов, 1963 г.

* * *

Полустанки и поезда, товарняки и работяги-попутчики – всё это тоже предмет острого, сострадательно-любящего взгляда Ирины. А светловское напутствие – «Смотри не подведи меня» – сказанное незадолго до смерти поэта (чьей студенткой, вернувшись в Москву, стала молодая писательница), на всю жизнь для неё стало ответственным.

В 1958–1960 годах И. Ракша училась и на агрофаке в Тимирязевской сельхозакадемии. Затем поступила и окончила ВГИК, сценарный факультет (1961–1967), дипломным сценарием были новеллы её первой книги «Встречайте проездом». В 1972–1974 гг. – Высшие литературные курсы Литинститута им. М. Горького. Для членов Союза писателей. Мастера – прозаик С. Антонов, поэт А. Межиров. «Я всегда много училась. Даже прилежно. И это, конечно, здорово, – напишет она потом в биографии. – Это были тоже «мои университеты». Но училась я ещё и потому, что в вузах тогда платили стипендии, на которые можно было жить. А я, брошенная родителями, заимевшими иные семьи и иных детей, могла с ранней юности рассчитывать лишь на себя. Ну а потом у нас с Юрочкой и своя дочь появилась. Анютка. Так что поневоле вкалывать приходилось».

Немалое влияние на творческое становление писательницы оказала встреча и с Василием Шукшиным (и его матерью), в чьем доме в Сростках она порою бывала еще в «алтайский период». Ну а регулярные публикации в московских журналах «Юность», «Молодая гвардия», «Огонек», «Смена», «Знамя» и первые книги рассказов «А какой сегодня день?», «Почему опоздал маневровый», «Скатилось колечко» (издательство «Советская Россия», «Сибирские повести» «Профиздат», «Современник») принесли И. Ракше широкую известность. Сделали ее имя любимым и популярным уже в шестидесятые, в период так называемой оттепели. Критики писали: «Ее проза красочна, емка. Богата образами, деталями и интонациями, глубоко психологична. Ее школа – классика русской литературы». Действительно, ее кумиры – Н. Гоголь и А. Пушкин, И. Бунин и А. Чехов, В. Набоков и Ю. Казаков, Е. Носов и В. Шукшин.

Ее новые, неспешные книги последовательно выходят и в 70-е, и в 80-е годы, и в лихие 90-е. От газет и журналов Ирина часто ездит в командировки. Очерки и статьи, будь то БАМ или Прага, Чукотка или Париж, глубоки, остры, порой непримиримы. Будучи по профессии и кинодраматургом, И. Ракша пишет сценарии документальных и игровых фильмов, снятых на киностудиях «Мосфильм», «Беларусьфильм», «Экран-ТВ».

Как искусствовед, печатает статьи о музыкантах, поэтах, художниках – М. Грекове и А. Пластове, Ю. Ракше и И. Левитане. Ее муж, с которым они встретились ещё во ВГИКе студентами (тогда Юрий Теребилов), – известный живописец и художник кино Юрий Ракша (лауреат премии «Оскар», США, за фильм «Дерсу Узала»; премии «Биеннале-72» в Париже за полотна «Моя мама» и «Современники». В честь него, выдающегося художника XX века, Институтом астрономии РАН названа планета Солнечной системы № 3032 – Ракша). Впоследствии он вспомнит об их общей студенческой юности: «...Много и писем было тогда написано будущей писательнице Ирине Ракше, ставшей потом моей женой и верным другом на всю жизнь, и в радости, и в горе, моим единомышленником, первым зрителем, первым критиком. Я знаю, как много факторов должно соединиться в благом сочетании, чтобы художнику стать художником, чтобы художник осуществился, поэтому так важно, кто всю жизнь с тобой рядом... А Ирочка всегда была моей звездой, моей Музой».

Книги прозы И. Ракши переведены на многие языки мира. Статьи о ее творчестве, о «свете добра и любви» писали многие мастера русского слова – С. Дангулов и А. Борщаговский, В. Сурганов и В. Куницын, И. Стаднюк и Ю. Нагибин, Д. Ильин и Б. Виленский и др. Её имя вошло в Книгу рекордов России (2008), во многие литературные энциклопедии, в том числе в энциклопедию США «Женщины-писательницы России». Ирина Евгеньевна – лауреат ряда литературных премий. «Золотое перо России», имени В. Шукшина, им. С. Есенина, им. М. Лермонтова (2012), «Золотой витязь», «Писатель года 2013», «Писатель года 2015», «Наследие» (2015), «Писатель года 2016». Премия и медаль им. И. Бунина (2014), медаль им. К. Шульженко. В 1995 году малая планета Солнечной системы (№ 5083) решением института Астрономии РАН и Международного планетарного центра (США, штат Масачусетс) получила имя Иринара – «... в честь известной русской писательницы Ирины Евгеньевны Ракши».

Основные книги: «Встречайте проездом» (издательство «Советская Россия», 1965), «Катилось колечко» («Советская Россия», 1971), «Весь белый свет» («Современник», 1977), «Далеко ли до Чукотки» («Московский рабочий», 1979), «А какой сегодня день?» («Правда», 1981), роман-газета «Весь белый свет» («Художественная литература», 1981, тираж – 3 млн), «Скатилось колечко» («Советская Россия», 1987), «Сибирские повести» («Профиздат», 1988), «А какой сегодня день?» (издательство «Огонёк»), «Охота на волков» («Библиотека русской прозы», 1998), роман «Белый свет» (Союз писателей России), «Художник и Муза. Юрий Ракша» (Союз писателей России, 2005) и др. А также сборник мемуаров – «Возвращение в Россию» («ИРА», 1993) и др., в том числе книги для детей: «Ужин тракториста» (издательство «Малыш»), «Певец первой конной» («Малыш»), «Необыкновенное путешествие» («Детская литература»). «Избранное» (Российский союз писателей, 2016). Автобиографический роман «Письма чужой жене» (2015). Очередная книга И. Е. Ракши – «Шкатулка с секретом» (2013) – о знаменитой певице начала века, собирательнице и несравненной исполнительнице русских народных песен, основоположнице этого эстрадного жанра, именем которой РАН назвала планету Солнечной системы № 4229 – Плевицкая – Надежде Васильевне Плевицкой, бабушке писательницы.

С 1994 по 2004 год И. Е. Ракша – председатель приходского совета храма Рождества Пресвятой Богородицы, который она безвозмездно восстанавливала в Москве, в Бутырской слободе, в самое трудное для страны время. В эти же годы работала редактором – зав. отделом литературы и искусства в журнале «Работница».

Имеет государственные награды «За освоение целинных земель» (1956) и др. Последняя государственная награда за заслуги в области литературы и искусства – орден «Дружба» (2008) за подписью президента России В. В. Путина. Удостоена звания "Народный писатель России"

Является академиком Академии российской словесности. На VII Пушкинской ассамблее (2015) принята в действительные члены Академии, учрежденной императрицей Екатериной II в XVIII веке.

Анна Юрьевна Ракша (1965–2017) – член Союза художников России, член Международной федерации художников ЮНЕСКО (IFA).



Ирина Ракша с дочерью Анютой. Новый 2015 год

Останкинские дубки

Рассказ

Мы с мамой жили тогда в Останкино, в двухэтажных оштукатуренных белёных бараках. Их почему-то, возможно красоты ради, называли корпусами. По Третьей Останкинской улице таких корпусов построено было семь. В конце тридцатых годов их соорудили наскоро, как временное жильё для сотрудников ВСХВ – Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, которая находилась неподалеку. Мой папа был ее сотрудником, молодым выдвиженцем – директором павильона «Хлопок». Ему, как и остальным, обещали в скором будущем отдельную квартиру в центре. Но воистину – нет ничего более постоянного, чем временное. Тем более что в скором будущем началась война и папа ушел на фронт – лейтенантом, танкистом... Потом война кончилась, но отец все не возвращался и не возвращался. А временные бараки, как Ноев ковчег, где набралось всякой твари по паре, все жили и жили на московской окраине. И плыли сквозь толщу лет аж до скончания века. Правда, седьмой корпус при первой же бомбежке в сорок первом сгорел от прямого попадания немецкой бомбы, так что седьмого корпуса я не помню. Не помню и как уходил на фронт отец: мала была... Запомнила лишь одно – мы всегда жили с мамой в Останкино, в шестом корпусе. На первом этаже. Жили вдвоем, а отца все только ждали и ждали... Пара окон нашей комнаты, в тюлевых шторках, с ясными, вытертыми до скрипа стеклами, смотрела, словно глаза, прямо в зеленое поле, за которым на горизонте синела дубовая роща, так называемые останкинские дубки.

Бараки стояли перпендикулярно к трамвайной линии. По одну ее сторону. А по другую, за дощатыми заборами, беззубыми штакетниками и всяческими оградками скрывались разномастные срубы. С резными наличниками, с голубыми ставенками на окнах. Глухая окраина. Точнее сказать, «частный сектор» – дореволюционные домики никому не известной тогда деревни Останкино. Они утопали в садах, в зарослях жасмина, сирени, одуряюще пахшей весной. А по осени там, за заборами, ветви садов маняще ломались от тяжести желтых и красных яблок и синих слив. Туда по ночам совершала набеги наша барачная ребятня. Там лаяли собаки, а кое-где блеяли козы и даже мычали коровы. Но в общем там жили тихо и потаенно. Даже как-то испуганно. А мы – шумно, все на виду. Живущие там считались частниками, «аристократией». Ну а мы, что напротив, были опасным пролетарским соседством. И не без основания считались шпаной. Общей у нас была лишь трамвайная остановка. Вагоновожатый в трамвае кричал: «Третья Останкинская улица!» – и нажимал на шипящие тормоза... Да еще – чугунная, гремящая рукоятью колонка. К ней за водой тянулись жильцы обеих сторон и одинаково набирали шумно текущую воду. В эмалированные и жестяные ведра, в тазы и бидоны. И белье полоскали в корытах тут же, возле колонки.

Несколько раз в день посреди улицы, по рельсам со шпалами, присыпанными щебенкой и поросшими травкой, прогремывал старенький красно-желтый трамвай № 39. Он приходил издалека, «из города», с Первой Мещанской. И, пройдя мимо нас, шел к следующей, последней остановке у Шереметьевского дворца. Она называлась «Круг». Там он чуток отдыхал и, сделав круг у трех тополей, поворачивал в обратный путь.

Моя мама отношения к сельскохозяйственной выставке не имела. Она давала уроки музыки. «На дому» и «на выезд». В определенное время к нам приходили ухоженные девочки с большими нотными папками и под неусыпным контролем мамы уныло долбили на пианино гаммы. «Пальцы! Пальцы! – то и дело звучал мамин голос. – Опять путаешь пальцы!.. На «ми» какой пальчик?.. Третий. Правильно... Еще раз повтори...» Этих девочек с бантами в косах я терпела с трудом. И облегченно радовалась их уходу. Зато за «выездные уроки» маме пла-

тили вдвое больше. Но и времени они отнимали уйму. Ей надо было заранее привести себя в порядок. Прилично одеться и в новом драповом жакете с высокими ватными плечами, в белых суконных ботиках или начищенных гуталином туфлях (смотря по сезону), в шляпке и штопанных перчатках отправляться с сумочкой под мышкой «в город», «на люди», в приличный дом с коврами и высокими потолками. Долго ехать с нашей окраины с пересадками в «битком набитых» трамваях. Опасаться карманников и портить обувь. И там, в «приличной семье», стараться выглядеть истиной дамой и пианисткой. А может быть, даже (после часового урока с капризным балбесом) выпить, если, конечно, предложат, чашечку кофе, непринужденно болтая с хозяйкой и пряча под стол ноги в стоптанной обуви. И, разумеется, не касаясь конфет и печенья. А уж если касаться – то лишь для того, чтобы незаметно сунуть несъеденное в карман или сумочку и привезти дочке лакомство.

Такие уроки «на выезд» были для меня праздником. В комнате воцарялась сладостная тишина. И хотя мама запирала меня «на ключ», весь окружающий мир сразу же обнимал меня и принадлежал только мне. Какое это счастье – быть одной! Чувствовать себя свободной! И в тишине свободного мира свободно дышать, двигаться, думать. Как упоительно оставаться один на один с собой, с каждым предметом вокруг. С кошкой Дымкой. С книжками, с тетрадами с промокашкой, с чернильницей-непроливайкой, что на тумбочке у окна. С игрой «лото» – на круглом столе, что посреди комнаты, под оранжевым абажуром. С семью белыми слониками на пианино. Даже с птицами, летящими за окном в солнечном небе. С дубовой рошей вдали.

В первый момент тишины я не знала, что делать, куда себя деть. Отрешенно и молча гладила любимую кошку Дымку. Старый коричневый инструмент тоже молчал. Он отдыхал и от чужих, и от маминых рук, от ее возгласов и команд. Мы были с ним заодно, мы были единомышленники. И только глухо доносились из длинного коридора сквозь обитую одеялом дверь голоса соседей, шум примусов и кастрюль на кухне. Шум радио за стеной.

О том, что мама беременна, я узнала однажды от соседки – татарской девчонки Саидки. И, конечно же, по секрету. Саидка была темноволосой, конопатой – старшей дочкой в многолюдной семье старьевщика дяди Ахмета. Новость была очень странной. Хотя об этом тетки на кухне шушукались не однажды.

– Мужик где-то на Колыме. Сидит. Говорят, в плену был, а она, верченая, накрутится, выпялится – и в город.

– Вот, барыня, и нагуляла.

– Ясное дело, дошла...

Я уже слышала это, но не думала, что такое – про мою маму, про нас, про отца. Во-первых, потому что мой папа, разумеется, был героем. Настоящим героем войны и настоящим танкистом. Я сама не раз с гордостью разглядывала его фотографии с фронта. Правда, всего только две. Одна очень маленькая, групповая. Он на танке вместе с бойцами своей роты. Сплошь стоят и сидят на броне, на гусеницах и у пушки. И лицо его рассмотреть очень трудно. Вторая – крупнее. Папа с дружкой в зимнем лесу, тоже на фоне танка. Оба такие лихие, в белых полушубках и шлемофонах, с папиросами в зубах и улыбаются. И глаза у папы – светлые-светлые. Как у меня. Голубые.

Отец и сейчас служил где-то в армии. Как говорила мама, его часть «перебросили» куда-то на Дальний Восток, на Японский фронт. И ему оттуда даже писать нам было нельзя. В красивой семейной шкатулке мама берегла старые треугольники его писем. С фронта. И еще берегла трофейную, очень нарядную, хоть и потертую, пасхальную открытку – с милыми немецкими поросятами. Я подолгу рассматривала трех розовых, в бантиках поросят. Они беззаботно плясали на голубом снегу и вокруг разбрасывали ромашки. На обороте открытки твердым почерком был выведен длинный номер воинской части и строчки: «Любимой женьке и дочурке, в память о днях наступления на ... (далее было зачеркнуто) Бьем

беспощадно фашистскую гадину...» Опять зачеркнуто. А внизу, под густо зачеркнутой датой: «...Ждите. Крепко целую, любящий муж и отец...» На мой вопрос, кто все так исчеркал, мама только вздохнула: «Цензура армейская... Конспирация... Иначе, детка, нельзя. Время сейчас такое. Враг – не дремлет».

Ну а про беременность – это уж было совсем вранье. Это уж было слишком. Я знала, как некрасиво, как пузато выглядят беременные женщины. А мамина фигура была как всегда стройной, порывисто-легкой.

– Во дура-то, – даже не обиделась я на Саидку. – Враки все это. Брехня и враки... Пойдем во двор, в «штандер» играть.

– А мячик вынесешь?

– Вынесу.

В Останкино ярко цвела золотая осень. Величаво, торжественно стоял порыжевший Шереметьевский парк. На горящем, оранжевом фоне листвы – четкое кружево черных ветвей и черных стволов. У входа в парк драгоценно белел колоннадой роскошный дворец. Окна были грубо забиты потемневшими старыми досками, но по сторонам входной лестницы дом по-прежнему стерегли живописные верные львы. Давно не гордые – замусоленные и обшарпанные. С отбитыми лапами и ушами. И не было в округе пацана, который бы хоть раз не восседал на них. И, шмыгая носом, не хлопал бы ладошками по грязным каменным гривам.

Вдали же, напротив имения, на убогих останкинских пустырях по осени ритуально дымились костры. Там и сям окрестные жители на огородах сжигали ботву. В воздухе сладко пахло гарью, кострами, печеной картошкой. Мы с мамой тоже копали и убирали картошку. В мешки. На своем чудом полученном участке в пять соток. Раньше на этих сотках располагались пузатые серебристо-серые аэростаты. В войну они охраняли московское небо от вражеских самолетов. Да тут пока и остались. Называлось все это – противовоздушная оборона. Пункт ПВО. И эти последние «ненужные» аэростаты напоминали старшим о бомбардировках столицы, а мне – два живых организма, мерно вздыхающих, колышущих на ветру свои тугие и беззащитные животы. И было неясно, как они, такие толстые, неповоротливые, могли охранять Москву от фашистов. А чтобы они не вздумали улететь, их прикручивали тросами к железным крюкам, попарно вбитым тут и там в землю. И, глядя на этот пункт и на клочки огородов вокруг, невозможно было вообразить, что спустя какой-то десяток лет на этом месте потянется в небо полукilометровый, отовсюду видный шпиль останкинской телебашни – немыслимое, невиданное в те годы дитя прогресса. А его основание, его огромные разлаписто-бетонные «ноги» упрутся в эти самые «огородные» сотки. И возрастая это чудо будет прямо на наших глазах. Поскольку окна шестого корпуса смотрели как раз в ту сторону.

Но до этого было еще далеко. Пока в поле жили аэростаты. Наверно, в войну они были очень нужны. По ночам, натягивая тросы, они неслышно поднимались в черно-синее небо в ожидании врага. И дрожали там пузырями под звездами, на вселенском ветру. Как живые, могли оглядывать с высоты, словно детский макетик, белый дворец с парком и темным прудиком, трамвайный круг и все три Останкинских улицы. И, конечно же, наши бараки, поставленные аккуратным рядом, как спичечные коробки. В сорок первом именно эта геометричность и соблазняла немецких летчиков бомбить наши дома.

Сверху, с тревожных небес, аэростатам было видно все: Шереметьевское имение и Марьино роща, Кашенкин Луг и дубки, село Алексеевское и Ростокино. В дальней дымке – Ржевский вокзал. Уже не Виндавский, как до революции, но пока и не Рижский, как нынче. А еще, как на ладони, им были видны павильоны и площади закрытой тогда сельхозвыставки, где возвышался белый памятник Сталину – в полный рост, в шинели – и еще алюминиево-серый – рабочему и колхознице. Правда, памятники были обложены мешками с песком, закамуфлированы – до неузнаваемости.

И вообще, под надутыми серебристыми их животами широко простирался весь наш темный, тревожно спящий в военных дымах полуголодный город.

Ну а после войны аэростатами занимались на пункте девушки. Рота девушек в лихих пилотках, ладных сапожках, в защитной военной форме с погонами. Война миновала, и потому смешливые и «бесстрашные» девчата нового призыва были задорны и отутюжены, и, конечно, полны чувства собственной важности. От нашего дома отчетливо были видны вдали не только большие аэростаты, но и казавшиеся маленькими армейские постройки, подсобки и жилые брезентовые палатки, выцветшие за лето до белизны. А дальше за пунктом ПВО синела дубовая роща, великолепно написанная когда-то с натуры художником Левитаном.

Да, это были те самые могучие и царственные «Останкинские дубки». Историческая дубрава, которую три века назад наши предки с особой заботой, с молитвой и тщанием взращивали на шереметьевских, графских землях. А какие там были гулянья! Какие концерты! Игры с танцами, музыкой! И цирк-шапито приезжал. И для детей зверинец... Кто только не побывал там – в Марьиной роще, в Дубках... А при советской власти дубраву начали изводить, незаметно, упорно так вырубать. Особенно после войны. Делать просеки, прогалины. Засаживать огородами. А дровами из вековечного дуба – топить в «частном секторе» печи. И остановку автобуса, что за «Марьиной рощей», называли уже «Дубовый просек». Конечно, ни Марьи, ни ее березовой рощи давно уже не было. А вот могучие дубы и дубки вырубались и исчезали прямо у нас на глазах.

Женская школа № 271 была от дубравы недалеко. И после уроков молоденькая учительница всем классом водила девочек в лес погулять. Зимой – соревнуясь, побегать на лыжах. А осенью – соревнуясь же – набрать желудей. Да побольше. В помощь какому-то лесохозяйству. Задание было ответственное. А соревновательный дух буквально витал тогда в воздухе. Разбредаясь меж стволов, мы внаклонку собирали желуди. Жадно, старательно выбирая пальчиками из сухой травы. На ощупь они были приятные. Гладкие и прохладные, как отборные камешки-голыши. Ссыпали мы их в портфели, в мешки из-под обуви. И, скользя, они постукивали глухо и весело. Мы свято верили, что спустя годы из них вырастет тут дубрава, полная птичьего гомона, шума листвы на ветру. И все это зависело, как казалось, от нас, от малого желудкá на нашей ладошке. Очень уж хорошо было нам в дубраве. Легко, просторно, как в чистой, высокой горнице. А сколько грибов-крепышей там было по осени, сколько ландышей по весне!

И вот – все вырублено под корень. Ни желудкá кругом, ни пенька. Одно название осталось – «Дубовый просек». И можно лишь с благодарностью вспомнить тот щедрый и беззащитный лес, где в кружеве зелени, в солнечном мареве остались, словно мираж, наши детские силуэты.

А еще аэростаты напоминали мне новенькие цистерны с горючим, которые стояли на запасных путях, за Марьиной рощей. Иногда мы, собравшись всей барачной ватагой – Саидка с Маршидкой, Ленька, Витя-Хрюня, братья Калашниковы и еще кто-нибудь из соседнего пятого корпуса – отправлялись «на точку» – «позырить». И не просто поэзирить, а втайне надеясь: вдруг там чего и отколетса, в смысле – пожрать. Однажды Саидка принесла оттуда необычайный, обсыпанный чем-то сухарь, про который тетя Роза сказала «ванильный». На мою обычную дворовую просьбу «дай куснуть» Саидка отвернулась и не ответила. Зато из ее рук сухарь перенюхали все ребята, жадно втягивая сопливыми носами дивный, ни с чем не сравнимый запах.

На пункт ПВО мы бежали вначале сосредоточенно и решительно. Через болотце, поросшее камышом и осокой, лихим галопом. По хлюпающим набросанным по тропе доскам – только брызги стреляли из-под голых пяток и башмаков. А взойдя на пригорок, в поле с заплавами картофельных огородов, стали шагать все медленнее, медленней. Приближаясь, аэро-

статы словно росли навстречу нам. Надвигались и надвигались, закрывая и застя и дальнюю рощу, и красное вечернее солнце, что уже валилось к горизонту. Мы – ватага убогих мальцов – петляли по тропкам и межам, где окученными рядами зеленела не зацветшая еще картошка. Наконец, растянувшиеся гуськом, оробевшие, в выцветших штанах и платишках, оказывались в тени толстопузой громадины. Ну а к самой площадке подбирались уже пригибаясь и крадучись. Потом рассыпались у самого края. И залегали цепью в межах. Притаившись, лежали на теплой, комковатой и пыльной земле. От волнения казалось, что слышно, как колотятся наши сердца.

Отсюда, из укрытия, сквозь зелень все было видно как на ладони. Мы жадно следили, как там живут. А жили там, на наш взгляд, прекрасно. Как в сказке. Особенно сейчас, к вечеру, когда под навесом в железном котле варился ужин для роты. Девчата в военной форме, точно осы, туго перетянутые по талии ремнями, спокойно ходили, переговариваясь, пересмеиваясь, от палатки к палатке и под навес, где стоял обеденный стол. Почти все были без пилоток. Одни – с косами, уложенными корзиночкой или вокруг головы, другие – коротко стриженные, с расстегнутыми у шеи воротничками, с поблескивающими на солнце пуговицами. Мы безошибочно знали, кто у них командир и кто сегодня дежурный – «дневальный». Я обожала их всех, этих девушек, за «картинность» – за выправку, форму и красоту – за все то, чего у меня не было... Ах, как хотелось тогда быть похожей на них!.. Вот они принялись по очереди умываться под гремящим на столбе рукомойником, перекинув полотенце через плечо. Вот, переговариваясь, расставили на дощатом столе алюминиевые тарелки. Стали нарезать хлеб большими ломтями. От кирпичной буханки. А дежурная у печи, в заляпанном фартуке поверх гимнастерки, приподняв крышку бака, уже колдовала над ним половником. И над всем этим в вечерней тиши, где далеко-далеко слышался каждый звук, поплыл несказанный, помрачающий ум запах – запах каши с мясной тушенкой.

Мы лежали вдоль края посадки, каждый в своей меже, приподняв, как перед атакой, головы. Ряд детских голов над картофельными кустами – русые, белые, черные. И принюхивались, глотая слюну. Но особенно нестерпимым запах становился, когда дежурная, обтерев руки о фартук и отложив крышку, из-под которой клубился пар, доставала поварешкой волшебное варево. Доставала и весело шмякала в протянутые тарелки. Порцию за порцией. Порцию за порцией. Мы жадно следили за каждым движением и поварихи, и девчат. И вдыхали, вдыхали в себя этот благодатный питательный запах. Будто всасывали в себя, стараясь вобрать побольше. Казалось, этот запах можно было резать ножом, как хлеб. Однако вскоре у меня что-то начало сводить в животе. Наверно, надо было бы отвлечься, отвернуться. Но попытка была столь сладостна, что прекратить ее не было сил.

Кругом было тихо, тепло. Только стрекотали кузнечики. Наше «войско» лежало не шелохнувшись. С одной стороны от меня притаилась Саидка, с другой сопел Ленька. Где-то поблизости шмыгал носом Витя-Хрюня. А под навесом девчата, шумно рассевшись за дощатым столом друг против друга, уже ели, с аппетитом постукивая алюминиевыми ложками.

Меня поражало: кирпич ржаного хлеба они нарезали с маху, не задумываясь, большими бесформенными ломтями. И брали, кто сколько хотел. Того самого хлеба, которым нас так скудно отоваривали в хлебном ларьке на базаре, по карточкам, по талончикам – розовым, голубым и зеленым. То есть рабочим, детским и иждивенческим. И дорогой вязкий вкус которого был так знаком и любим – по крохотным довескам, которые мы, не выдержав, по чуть-чуть отщипывали губами и все-таки съедали, не донеся до дома.

А под навесом хлеб ели небрежно, не задумываясь, и кашу с тушенкой ели, переговариваясь. И повариха подседа к ним тоже с тарелкой и тоже лихо трескала, уминая за обе щеки и хлеб, и кашу. Ела еще и еще... «Как только не треснет?!» Запах съестного витал, кружился над нашими головами, ударял в нос, густой и теплый. Его действительно, точно хлеб, можно было резать ножом. У меня от голода что-то мутится в голове... А их рты все жуют и жуют... И

хлеб все отламывается, ломоть за ломтем... Глухо стучат, скребут о тарелки ложки... «И куда в них столько влезает?..» А вот нам бы... Нам бы, кажется, на всех и одной миски хватило. Одной только мисочки... Одной тарелки, тарелочки... Даже половничка. Да хоть бы попробовать ложечку... А что?.. Слабо просто так, молча подняться и подойти к столу?.. И попросить?! Дали же они когда-то Саидке тот самый ванильный сухарь... Ну, и хлеба взять бы маленько. Отломить бы от той вон краюшки, что лежит пока в стороне, будто вовсе им и не нужная...

Слышу, как в соседней меже за листвою пытит Ленька. Саидка лежит замерев, словно и нет ее. А где-то поодаль шмыгает невидимый Хрюня... Может, все-таки встать, пойти под навес и сказать: «Тетенька, дай хлеба», как просят беспризорники у нас на рынке. А что?.. Может, даст?.. У них же много... Но вот за столом и эту «ненужную», последнюю краюху берут чьи-то руки и разламывают пополам... Да и как подойти?.. Нас же тут человек десять... А, может, вскочив, рывком кинуться к столу и, схватив хлеб, броситься наутек, как это ловко делают все те же беспризорники? Но – нет... Здесь – другое дело. Здесь это никак не пройдет. Они разузнают, кто где живет. Нажалуются родителям, что хулиганим. Дом ведь под носом. Да и оружие опять же у них. Вон у той кобура на поясе. И у той. А в палатке наверняка пулемет или ружья. Еще как пальнут вдогонку!..

И уже кажутся мне эти сытые, жующие за столом тушенку, не девушками, а тетками – отвратительными обжорами. Они уже совсем не нравятся мне. Я их уже терпеть не могу. И, наверное, ненавижу... Все они жрут, все жрут! И куда в них столько влезает?.. Комки сухой земли под ладонями, под животом, под коленями ощущаются все острее. И по мере того, как запах съестного ослабевает, организм переключает внимание на себя. Меня начинает тошнить... Вернее, мутить до тошноты. Не могу проглотить, протолкнуть ком слюны в горле. Задыхаюсь. И, что хуже всего, начинаю икать. Эта дурацкая икота походила на редкие пiski птенца в траве. Да и раньше этот беспомощный птичий клекот всегда выдавал маме мой голод. Вот и сейчас я сдерживаюсь, давлюсь, испуганно утыкаюсь носом в землю – вдруг услышат и засекут! Я всех выдам и подведу! Но тело вздрагивает и вздрагивает, как от рыданий. Лбом и щеками чувствую сухие комья. Земля, нагретая за день солнцем, теплая и колючая. И на зубах поскрипывает песок... Вот так бы закрыть сейчас глаза и уснуть тут навсегда. И, наблюдая внутренним зреньем красные и зеленые плавающие круги, хочется раствориться в теплой тени огромного аэростата. Но вдруг слышу: рядом, справа и слева, по всей цепи словно прокатывается живая волна. Как перед штормом. И с неожиданным, как взрыв, общим криком из кустов вдруг вскакивает нестройной шеренгой вся наша орава. Отдельных слов не разобрать, слышно только: «А-а-а-а!.. О-о-о-о!.. Бей их!» И град сухих комьев летит под навес. Слышно, как дробно они стучат по доскам! Как глухо ударяются, попадая в надутый, мягкий бок аэростата. Я, забыв про икоту, тоже вскакиваю и в азарте тоже ору, что есть мочи, даже не понимая что. И тоже, как все, хватаю с земли рассыпчатый ком и тоже швыряю туда, где уже суетятся, вскакивают из-за стола эти телки, эти молодые обжоры... «А-а-а-а!.. Что?.. Не нравится?.. – с остервенением кричит рядом Ленька. – А тушенку жрать нравится?» И обстрел усиливается.

Но там, под навесом, уже опомнились, уже спешат к нам, и на ходу кто-то уже расстегивает ремень. И в наступившей вдруг тишине раздается тонкий, пронзительный крик Маршидки: «Атас!.. Отвал!..»

Все дальнейшее – как в немом кино. Вся ватага молча, пыхтя, несется по огородам к баракам. Вниз, под уклон, бежать легче. Только платья крыльями бабочек вспархивают над зеленью. Пятки двух десятков ног дробно стучат о землю, сбивают ботву. Слышно только рвущееся дыхание. Мы с Маршидкой младшие, но тоже не отстаем. Хотя у меня развязался шнурок на заляпанных грязью «мальчуковых» ботинках. От этого я в любой момент могу шлепнуться, растянуться, а хуже того – потерять башмак. Вот пролетели и кончились огороды. Вот по тропе ворвались мы в спасительную болотину. Захлопало под ногами. И только тут, скрытые зеленью – лишь макушки голов над осокой – мы, задыхаясь, переходим на шаг.

К дому подходим гуськом. Степенно и вроде бы нехотя. Останавливая дыхание. Молчим. А я и вовсе приотстаю. Наклоняюсь, непослушными, вздрагивающими пальцами завязываю шнурок. С трудом продергивая его, замахившийся, в дырочку. Ежедневно шнуровать башмаки, попадать шнурком в дырочки – просто пытка. Все детство я мечтала о туфельках, как у подружек. Но черные мальчуковые ботинки маме казались практичней, прочнее, да и покупались не на один год – «на вырост». Сперва они были мне велики, потом – очень короткое время – впору, а позже, сбитые на носках, – уже жали, набивая мозоли... А пока... Пока на душе скверно и муторно. И стыдно до слез. И оглядываться на аэростаты вовсе не хочется.

Наши окна распахивались прямо в поле, в его то по-зимнему белые, заснеженные, а то зеленеющие, разбитые на лоскутки огородов просторы. И в тех земных просторах у нас с мамой не было ни клочочка. Все поле еще до войны было поделено и раскопано. У нас были только две грядки под самыми окнами – морковка да лук, которые мы вскапывали весной, словно перины. В те годы в Москве любой пятак был на вес золота. Земля спасала от голода. Слово «картошка» значило «жизнь». В прямом смысле слова. И на мешок больше ее собрать или на мешок меньше было не все равно. А потому свои участки, свои межи хозяева охраняли стойче, порой до криков, до драк лопатами. Бились за каждый метр. За каждую передвинутую вешку...

Участок ПВО эти самые огороды теснили со всех сторон и были готовы буквально его проглотить – по полоске, по кусочку, по кромочке. Весной, когда в Москве по окраинам копали огороды, площадку ПВО старались обуздить и по ночам тайком раскапывали ее обочины и даже подъездную дорогу. Девчата в военной форме ругались. А развеселые солдатики на обшарпанных полуторках назло огородникам ездили к девчатам где и как попало. Порой нарочно по посадкам – чтоб урезонить «частный сектор». Война так война. И девчата грозились вызвать начальство – оштрафовать. Грозились даже обнести все колючкой, поставить охрану. Однако огороды не отступали. Жажда жизни всегда сильнее страха.

Но вдруг однажды... Именно вдруг и однажды – пункт ПВО исчез. В одну ночь. И аэростаты, и девушки, и их палатки, и все их постройки. Мама утром открыла окно и ахнула, глазам не поверила. Там сияло лишь зеленое с голубым, лишь земное с небесным. И вдали одно с другим соединялось, как «молнией», темной зубчатой полоской дубравы. Торопливо одевшись, мы кинулись с ней туда. Через болотце по мокрым доскам, по тропке – во чисто поле. Скорее, скорее к участку. На ходу повязав косынку и часто дыша, мама тащила меня, схватив за руку. Я еле попевала за ней, спотыкалась и чуть не падала. И чем ближе мы подходили к бывшей площадке, тем быстрее мама шагала. Потом побежала, почти волоча меня. Потому что издали к участку с разных сторон тоже устремленно бежали люди. И даже с лопатами. Однако, запыхавшись до хрипоты, мы первыми, рука об руку, прибежали туда. Мама жадно оглядела укатанную, как асфальт, землю, все эти свободные сотки. Пункта действительно не было. Остались только дыры в земле, торчащие крючья да поодаль – зловонная яма от нужника. И посередине этого, наверное на всякий случай, торчала воткнутая фанера на колышке – «Участок ПВО» и какие-то цифры и номер части. Мама мгновенно думала и вдруг, решившись, кинулась к этой табличке. Без труда вырвав ее, прижала к груди. «Господи, ну вот и у нас будет земля, – сказала страстно и полупшепотом. – Это не то что под окном грядка. Теперь и у нас зимой будет картошка». Но мы ликовали рано. Издали к нам уже бежали с разных сторон люди с лопатами, молча, надсадно дыша. Мама вся напряглась, испуганно притянула меня к себе за худое плечо, прижала к упруго-теплому животу. Зашептала: «Не бойся, детка, не бойся... Мы же первые сюда пришли... Мы же первые... – Ее рука больно сжимает мое плечо. – Я лучше умру тут, а земли не отдадим... Мы ее завтра же засадим. Не страшно, что с опозданием. Еще такой урожай будет...»

Замерев, мы стояли посередине участка, с дощечкой и колом в руках, прижавшись друг к другу, – мать и дочь. И были как одно целое. От страха сердце, казалось, стучит у самого горла. А мужики все приближались, и мама сильнее прижимала меня к себе. Но вот один из них, большой, в сапожищах и кепке, добежал, достиг наконец площадки. Постоял мгновение, тупо глядя на нас, как бык, потом скинул с плеча лопату и, плюнув на руки, всадил острие в сухую звенящую землю. Больше он нас не видел, мы уже были не в счет. Он только слышал топот других подбегающих и копал, копал все быстрее. И мама, в смятении оглянувшись вокруг, все вдруг поняла и, отбросив доску и опять схватив меня за руку, кинулась по тропинке домой. «Ничего, девочка, ничего... Мы еще все успеем. Успеем...»

Дома, запыхавшаяся, с невидящими глазами, стала торопливо принаряжаться. Достала из зеркального шкафа, из заветной коробки, что лежала внизу под платьями, босоножки на каблукках. Несмотря на жару, натянула чуткими пальцами тонкие фильдеперсовые чулки, шелковую комбинашку. Вскинув белые руки, надела через голову голубое «трофейное» платье со множеством пуговиц на груди. Мне это платье, хоть и стираное-перестираное, очень нравилось. А она почему-то совсем невесело говорила: «Натуральный шифон», – и вздыхала; может, представляла, как это платье, купленное по случаю, носила в Германии до войны богатая немка... Вот мама, подавшись лицом к зеркалу, что в дверце шкафа, быстро подкрасила морковной помадой губы. (В те годы помады другого цвета и не было.) И, волнуясь, напряженно сказала, глядя сквозь меня: «Ну, я поехала. В часть. К воинскому начальству. Выбивать землю. Пожелай мне удачи». И так, не видя меня, вышла и заперла дверь на ключ. Я подбежала к окну. Смотрела сквозь тюль, как она, вся голубая, легкая, энергично проходит по двору. В босоножках на стройных ногах. И ветер треплет кудряшки на лбу... Спокойно и гордо шла она к остановке трамвая, мимо женщин, полоскавших у колонки белье и с осуждением глядящих ей вслед. Я же смотрела ей вслед с обожаньем. Как на Орлову в кино. Всю такую мою, такую родную, любимую... Скорей бы она возвращалась с удачей. Ведь ей, такой умной, красивой, отказать не сможет никто. Никто.

И я оказалась права. Уже к вечеру мы с мамой вскапывали на площадке ПВО сухую, до звона твердую землю. Могли ли представить тогда, что именно здесь вырастет некогда телебашня, а неизвестное слово «Останкино» будет звучать на всю страну и даже станет привычным?... А может, все это по промыслу? Может быть, сам Творец, глядя сверху, решил поставить здесь эту иглу, отметив тем самым пункт моего появления на свет?..

А мама меж тем все копает, копает. Красивое лицо уже совсем не красиво, оно красно и потно. И ситцевый сарафан потемнел от пота на спине и под мышками. Но она радостна и упрямо всаживает и всаживает лопату поглубже. У нее в кармане, как защитная грамота или как «ясак на княжение» лежит кем-то в какой-то воинской части подписанная бумажка с печатью «на землю». А сила бумажки с подписью, да еще и лиловой печатью, в те годы была фантастической.

Мама делала самое трудное – она копала, отваливала один за другим тяжелые пласты и комья. А я, идя следом, разбивала их ребром лопаты. Лопата была обычная, для взрослых, и мне казалась тяжелой, с толстым для моих пальцев древком. Так что мозоли натерла я очень скоро. Но помалкивала, мужалась. Скрипела пыль на зубах, во рту пересохло. Скрипел металл о сухую землю. А я спешила, спешила, стараясь не отставать. Понимала: наутро сюда могли прийти совсем чужие и, несмотря на нашу бумажку, раскопать эти последние, чудом доставшиеся нам сотки. Иногда мама останавливалась передохнуть и, опершись на лопату, ласково говорила: «Не спеши так, дочка... Помощница ты моя... За мной все равно не утонишься... Вот рядок кончим и перекусим. Там в сумке бутылка с чаем и каша... Чай сладкий... – Тыльной стороной руки вытирала пот со лба, размазывая по лицу пыль. – А все-таки ловко мы все успели... Хоть и последний кусок, а нам достался. Вот уж праздник так праздник».

Я таю от похвалы. От ее ласки в голосе. Но говорю без улыбки, по-взрослому, шурясь на небо, выцветшее, как ситец: «Хоть бы дождичек, что ли, крапнул. Хоть малюсенький. А то все посохнет. – И отдыхаю тоже по-взрослому, как мама, положив скрещенные кисти в цыпках на черенок наклоненной лопаты. Я скрываю ладони с мозолями, терплю саднящую боль. – Сажать-то как, очистками будем? – Я знаю, что так и задумано. Ведро с собранными очистками стоит дома в подвале, но хочу обсудить все всерьез. Поучаствовать. – Ясно, целых картошек не напасешься... А для посадки не все ли равно? Лишь бы глазки были. У нас и из глазков вырастет, верно?»

Мама задерживает на мне свой ласковый, чуть отрешенный взгляд. Улыбается. «Совсем ты взрослая стала... Голубоглазка... Ну вся в отца». – И, вздохнув, опять с силой кирзовым сапогом всаживает лопату.

И лопата со скрежетом снова отваливает, режет сухие пласты земли... Нашей земли.

...А осенью мы вдвоем, взявшись за ручки одноколесной тачки (каждая за свою), возили наш урожай, мешки с картошкой, домой – по полю вниз через болото. На мокрой тропе встречались колдобины, лужи, покрытые обрезками горбылей. Преодолеть это было совсем нелегко. Колесо тачки прыгало по доскам. Утопая, они брызгали во все стороны коричневой жижей. В любой момент колесо могло соскользнуть в грязь. И соскальзывало. Тачка кренилась, и мешки тяжело валились в осоку, в мокрую траву. Очень трудно было их поднимать и затаскивать.

...Дома мы с мамой, очень счастливые, рассыпали картошку по комнате – на пару дней для просушки. Раскатывали по полу перед загрузкой в погреб. Чтоб она как следует высохла и потом не гнила. На эти страдные дни тачку и пустые мешки мама брала взаймы. Одалживала у соседки тети Ани Разумовой, приветливой и аккуратной, что работала линотиписткой в типографии «Гознак» на Маломосковской улице. Ее дверь, тоже обитая одеялом, была наискосок от нашей. Тетю Аню – добрую и озорную затейницу – любили все. Особенно дети. А соседки у нее постоянно одалживали то луковицу, то соль, то яйцо. И всегда без отдачи. Но однажды в сорок девятом году ее, партийную, на удивление всему дому, вдруг посадили. За ней просто приехали ночью и увезли, грубо протопав сапогами по коридору... А на дверях ее надолго повисла пломба – пугающе-неприкосновенная. А всего-то – веревочка и коричневая печать. Впрочем, в доме знали, особенно мы, дети, что посадили ее «за Боженьку». Знали, что она была верующая, что тайно молилась, ходила в церковь «Нечаянная Радость», что в Марьиной роще. И в комнате у нее, в углу, за голубой шторкой была спрятана иконочка – Богоматерь с младенцем. Так что арестовали ее неспроста. Наверно, кто-нибудь настучал, мол, партийная, а Богу молится. Мама пыталась узнать, куда ее увезли, надолго ли посадили, каким этапом хотят услать. Собрав все мужество, мама куда-то поехала с передачкой. Но вернулась затемно, убитая, бледная, словно с кладбища. И шепотом попросила меня больше про тетю Аню не спрашивать.

Так тетя Аня Разумова домой больше уж не вернулась. Никогда. А в ее комнате поселили беженцев из Белоруссии...

...В дни осенней страды у нас дома стоял сырой, нездоровый дух. Земляной и тяжелый. Как говорится, не продохнуть. Но в общем это было совсем неважно. По сравнению с радостью урожая. По сравнению с тем, что картошка у нас «у-ро-ди-лась». Да какая! Крупная, одна к одной. Хотя, в отличие от других, мы сажали ее только глазками, то есть – нарезанными очистками... И вот теперь на зиму была еда. Соседки шептались: «Небось какой-то секрет есть. Больно уж хороша картошка-то».

В Москве в эти осенние дни всюду – в домах, в трамваях, в очередях – только и разговоров было, что про картошку. «Уродилась – не уродилась... Мелкая – крупная... Выкопали – не

выкопали». Уроки школьники почти не учили. Не до занятий было. Почти все помогали старшим на огородах. Но меня мама в школу выпроваживала с особым упорством. «За ученого, дочка, трех неученых дают. Ты это поймешь потом... Когда меня не будет».

Помню горе моей соседки по парте Ирки Тульчинской. В большую перемену, оставшись в классе за партой, она вдруг расплакалась. Сперва тихо, потом все громче, взхлеб. Я пыталась ее успокоить: «Ты чего, Ирка?.. Чего ты?..» «У нас картошку украли, – с трудом разобрала я сквозь всхлипы. – Мы с мамкой вчера с лопатами на огород приехали, а ее уже кто-то выкопал...» Мы, малолетки, младшие школьницы, молча смотрели, как худые Иркины плечи тряслись от рыданий. Смотрели и понимали: вот горе так горе. «Сторожить надо было, – советовал кто-то по-взрослому. – Как же иначе?.. Вон папка наш целый месяц на огороде спал. В шалаше. И ничего, уберег». Но Ирка не слушала и безутешно рыдала.

Через два дня просушки мы с мамой ссыпали картошку в подвал. Люк его, с железным кольцом, распахивался посреди комнаты. Сначала мы собирали сухие шершавые клубни в ведра. Потом эти ведра я подтаскивала к раскрытому люку, а мама, стоя внизу, принимала. И было слышно, как под полом клубни дробно сыпались в дощатый загром... Но даже в эти горячие дни страды мама заставляла меня делать уроки. Умудрялась даже сажать за пианино, говоря: «Я одна тут справлюсь. А ты вымой руки с мылом и – за инструмент... Надо урок повторить. Сегодня у тебя что, этюды? Майкапар или Гедике?..» Я вяло открывала крышку. Садилась нехотя на круглую вертящуюся табуретку. Вяло ставила ноты. Вздыхала. «Старинная немецкая песенка». Листала большие, нескладные страницы. А мама с очередным ведром ныряла под пол, и оттуда назидательно слышалось: «Лучший отдых – это смена работы. Вот и отдыхай».

После картошки мои пальцы были корявыми, непослушными. Крючились, не ощущали клавиш. Не чувствовали их мягкой податливости, гладкости, глубины. Руки после картошки, даже тщательно мытые, были полностью темно-коричневыми, как от йода. А под ногтями – черными. За ужином мама смеялась: «Ничего. Под ногтями чернозем – сразу видно: агроном». У нее самой были точно такие же.

А пока, высунувшись из люка посреди комнаты, она говорила мне: «Играй, я прошу, пожалуйста, мягче. Ведь это старинная немецкая песенка. Легкая, как пастораль. – Строго смотрела на меня снизу. Серая пыль от только что ссыпанной вниз картошки ореолом стояла у нее над головой. И лицо, и косынка на волосах были серы от пыли. Только глаза на серой маске лица блестели живо и неестественно. Как у куклы. И эта говорящая мамина голова проносила: «Ты пойми. Это надо играть с особым чувством. Проникновенно. И всегда надо представить себе картинку. Вот представь: идет дождь, очень холодно, вечереет, и под дождем стоит трубочист. Маленький мальчик-трубочист. Уставший, голодный. Стоит и горько плачет. И тебе его жаль, очень жаль. Попробуй, передай это в музыке».

Представить и пожалеть мальчика-трубочиста, да к тому же немца, я не могла. Мы немцев тогда ненавидели: почти все вокруг были сироты, безотцовщина. И хотя у нас в бараке тоже топились печи, и всю зиму над крышами Третьей Останкинской дымились трубы, я никогда не видела мальчиков-трубочистов. А представился мне почему-то соседский Ленька. Вчера его отец – татарин, старьевщик – выпорол по голому заду ремнем за кражу чужой простыни с чердака. Выпорол, велел вернуть простыню и потом не пускал до ночи в дом. Ленька навзрыд ревел в нашем подъезде под скрипучей деревянной лестницей. Голодный и несчастный. Вот его-то мне действительно было жаль. И я тайком вынесла ему кусок черняшки. Поскольку его родным сестрам – Саидке с Маршидкой – подходить к нему отец запретил.

Я нехотя, через силу играла, нажимая на белые и черные клавиши, – лишь бы маму не огорчать. А она под полом, слушая мою игру, орудовала совковой лопатой, ссыпала картошку в загром. Порой из глубины приглушенно звучал строгий голос: «Опять фальшивишь... Тут

нужно легато, легато... Повтори эту часть из-за такта. И-и раз... И-и два...» И я, скрывая страданье, повторяла-таки эту часть «из-за такта». Еще раз. Еще... Пока мамина голова опять не выныривала из люка. «Ну, кажется, все. Отмучились. – Она была счастлива, хотя тяжело дышала, положив на пол пропыленные руки локтями вперед. – Теперь, думаю, будем сыты. На всю зиму хватит. Еще и с бабушкой поделимся... А ты уже лучше играешь. Гораздо лучше. Только напевней надо, напевней... И с выражением...»

Она попыталась легко вылезти из подвала. Приподнялась на руках, как делала это прежде. Но вдруг не смогла. Впервые не смогла. Уперлась локтями в пол еще раз – и... вновь опустилась. В бессилье. Вновь попыталась, и снова не вышло. Выражение лица тотчас стало иным, каким-то беспомощно-жалким. И тут почему-то я вспомнила тайный Саидкин намек на мамину беременность. Вспомнила и испугалась. Бросилась помогать. Стала ее вытаскивать, тянуть неуклюже вверх. Наконец она тяжело села на пол, спустив ноги в люк. И долго молча сидела так в раздумье, с отрешенным взглядом. Будто забыв про меня.

И вот тут, не сводя с нее глаз, я поверила, что в самом деле с мамой случилось что-то невероятное, что-то ужасное, непоправимое. Что возможно, и вправду она беременна.

...А зимой у нас родился мальчик... И назвали его Андрей. Он поломал все. Весь уклад жизни. Прелестный малыш лежал в моей железной кроватке, принесенной с чердака и заново выкрашенной голубой краской. По бокам его охраняли веревочные сетки. Он лежал под одеяльцем, а когда было жарко натоплено, пускал пузыри и сучил ножками – в пеленках и простынях, как в пене. Такой горячий и розовый несмышлениш. Сверху умиленная мама накидывала над ним тюль – от мух.

С его появлением жизнь в доме полностью изменилась. Теперь вся комната была увешана пеленками. Стояли тазы с бельем. В ванночке грелась вода. Плохо пахло. А еще – мама шила теперь пеленки из старых скатертей и простыней. Мальчик был беспокойный, нервный, кричал день и ночь. Может быть, оттого, что у мамы не было молока. А молоко пропало, может быть, оттого, что он орал и мы по ночам не спали. Мама ездила без него и с ним по врачам. Ежедневно ездила на Маломосковскую в консультацию за детским питанием в бутылочках, а меня оставляла с ребенком. Когда маленький человечек наконец засыпал, я сидела над ним, вглядывалась в загадочное красное личико... Кто ты?.. Откуда?.. Зачем пришел?.. Два чувства боролись во мне постоянно – нежность и неприязнь. А когда он кричал, приходилось его качать. И я качала до одури. Совала соску в его слюнявый ротик. Поила водичкой. Клевала носом. А мне еще надо было делать уроки, наизусть учить Пушкина: «Мороз и солнце; день чудесный! Еще ты дремлешь, друг прелестный...» А слепым стылым утром спешить по скользкой дороге в школу, в первую смену. Я то и дело теперь пропускала уроки. Стала хуже учиться. Иногда к нам приезжала с Таганки старая бабушка и они с мамой за чаем подолгу и страстно шептались. Порой мама увозила мальчика в набанченном конверте куда-то в город, кому-то, видимо, показать, что-то выяснить. Но куда и кому – для меня было тайной. Возвращалась мама замерзшая, вся в слезах. Разворачивала конверт, вытаскивала из-под орущего малыша перепачканные пеленки, шлепала их в корыто у печки и сама ревела над ним безутешно, как маленькая.

А мои обязанности расширились. Теперь я следила за домом, за печкой – не дай бог угореть. Меняла пеленки. Приносила дрова из сарая, который по старинке назывался каретником... И теперь всегда, всегда мне хотелось спать. Порой мама, обняв меня, вдруг гладила теплой ладонью по голове, заглядывала в глаза, будто хотела сказать что-то важное. Но тут же с грустью их отводила. Вздыхала: «Я в город поехала. А ты уроки учи. У вас нынче что по «Родной речи»?.. Басни Крылова?.. Родная речь – это, детка, самое главное. Это как группа крови». И уезжала.

Теперь по утрам чуть свет к нам приходила укутанная, как куль, серой шалью молочница тетя Дуся. Присев у дверей на корточки, наливала из жестяного бидона в нашу кастрюлю литр бесценного молока – мерной алюминиевой кружкой. Предварительно она очень ловко переливала молоко из кружки в бидон и обратно. Для справедливости, чтобы перемешать сливки. Просила: «Вы очистки-то не выбрасывайте. Собирайте в ведро. Я корове забирать буду». И забирала.

Молоко было дорогое. Лишь для младенца. Ученицы к нам в дом больше не приходили. Уроков музыки «на выезд» тоже почти не осталось. Многие «порядочные» семьи маме в уроках теперь отказали. Да и в бараке шушукались: «И поделом... Нагуляла, недорезанная буржуйка». Да и на меня в школе стали смотреть по-другому. А наш малыш рос и рос, прибавлял в весе и уже гукал и улыбался. Зато мама совсем что-то сникла. Не делала больше прическу у зеркала. Не красила губы. Вслепую стягивала волосы узлом на затылке. Забыла про шляпку и про перчатки. Стала бледной и строгой, похожей на всех барачных соседок. А зимой пришлось продавать вещи на Останкинском рынке. Дорогие вещи нас как-то еще спасали. Первым мама продала свое шелковое голубое платье с пуговками. Потом светлые босоножки. Продала очень выгодно. А в феврале – довоенный папин костюм, который все годы так старательно берегла. Все переключивала – от моли – проклеросиненными листами газет.

В школе на перемене я однажды заснула. Прямо сидя за партой, уткнувшись лицом в нарукавники. Эти черные нарукавники из сатина мама шила, чтоб на моей шерстяной коричневой форме, какие носили тогда все девочки в СССР, не протирались локти. В общем, я крепко уснула: уж очень хотелось спать. А проснулась от того, что меня ударили по спине. «Эй!.. Иди давай живо на улицу!.. Там к тебе кто-то приехал!..» Я с трудом разлепила глаза. «Иди живей!.. Директриса велела!..»

Простучав мальчуковыми башмаками по ступеням, без пальто я выбежала во двор. Во дворе все было сине. И заснежено, глухо, будто в стакане. И запорошенные кусты, и забор, и деревья. Я осмотрелась. Меня никто не ждал. Лишь в стороне на скамейке одиноко сидел кто-то черный, ссутулясь и уставившись себе под ноги. Черный силуэт на белом снегу. Было морозно и тихо. Школьный гвалт остался внутри. А здесь только галки редко каркали где-то под крышей. Я постояла. Хотела уйти. С досадой мелькнуло: опять подшутили. Но тут заметила, что сидящий выпрямился. Он был в убогой серой ушанке и телогрейке, а на ногах – калоши не по сезону. И какой-то кулечек в руках на коленях. Вот неспешно он повернулся ко мне. Бледным лицом. Повернулся и внимательно посмотрел из-под низко надвинутой шапки. Наши взгляды случайно встретились. И тут сквозь белый пар от дыханья, клубящийся у моих губ, я увидела его глаза... Светлые-светлые, голубые глаза... Увидела и – замерла... Это были глаза отца... Моего отца.

Голубочек мой ясный

Рассказ

Казанский вокзал, зима 1955 года (Бог мой! Как давно это было!). Гудок паровоза, да-да, именно паровоза. Мороз, белый пар, белый дым – в небо. Пар от дыхания у губ. Перион битком набит провожающими, отъезжающими. Под официальные звуки духового желтоотрубного с блеском оркестра мы, молодые, счастливые первоцелинники, пареньки и девчата, одержимые безотчетной радостью неизвестного, отправляемся на Алтай «осваивать новые земли», превращаться из городских жителей в сельских. Кто-то едет, конечно, из-за «подъемных» и даже с детьми. За «подъем» переселенцам выплачивали большие деньги. Впрочем, в те годы люди на удивление легко снимались с насиженных и даже родных мест, передвигались по СССР. Это была программа сверху, это было даже почетно. Заселять, осваивать, покорять. Ехали по лимиту из деревень в города, но в основном из городов в захолустье. Легко летели на Чукотку и в Казахстан, на Алтай и за Полярный круг. Ехали с запада на восток, с юга на север. При этом с вечной бодрой формулой: «По призыву родной Коммунистической партии и советского правительства». Реже добавлялось: «По зову сердца». Сейчас понимаю, как порою бездумно ломались судьбы, рушились семейные гнезда, традиции. И не единиц – миллионов...

У меня же был другой, простой случай – скандалы родителей. Энергичные, образованные, казалось еще недавно влюбленные, растившие дочь, они расходятся. Повод серьезный. Рождение моего братца, малыша Игоря. Несмотря на ревность к сопернику, отец дает мальчику свою фамилию и отчество, но с категоричным условием – «бросить Москву и навсегда уехать с детьми в Сибирь», подальше от столичных соблазнов. Но мама – москвичка – красавица, умница, словно тяжкой болезнью, истерзана любовью и сложными отношениями с женатым историком. Хорошо помню его у нас в гостях, еще до рождения брата. Засыпая за полночь в соседней комнате, слышу за стеной их романсы (Вергинский, Есенин) дуэтом под мамин аккомпанемент на пианино. Слышу, как он с выражением декламирует стихи (еще запретных тогда, опасных) Гумилева и Блока. Мой отец – агроном, в войну танковый офицер, музыкального слуха совсем не имел. Он был служащим министерства сельского хозяйства, оно и ныне расположено на Садовом кольце, в доме Корбюзье. Отца то и дело посылают по стране в командировки, в сибирские сельхозрайоны. А мама, как прежде, таясь и смущаясь, дуэтом поет романсы. Я занимаюсь в обычной и музыкальной школах и уже привычно нянчусь с братцем – толстым бутузом в белых кудряшках. Однако, прежде отличница, в седьмом и восьмом учусь все хуже. На каток меня не пускают. Теряю подруг и друзей. Сердце болит за себя, за родителей. Не встречая любви родителей, душа болит и черствеет. Мне надоели бурные их скандалы, беспомощная мамина ложь. Обижает несправедливость ко мне, я теперь не нужна им обоим. И возраст у меня самый сложный, критический, переломный. Для воспитания очень противный. Часто реву. Как-то на пару дней убегаю к бабушке на Таганку. Мама сердится: «Что с тобой? Ты стала невыносима. Тебя даже учителя не узнают». Бабушка предлагает отдать меня ей, в «нормальный дом и другую школу. Иначе вы потеряете дочь. Или она покатится по наклонной плоскости». Мама не отдает. «А кто с Игорьком сидеть будет?» И вдруг... именно вдруг всему этому кладу конец я сама. Раз – навсегда. Как-то, услышав по радио очередной широкий призыв к молодежи – ехать на целину, я, наперекор всем, буквально сбегая с родной Третьей Останкинской – в Сибирь, на Алтай. О, как шестнадцатилетней душе хочется вырваться на простор, на свободу, к ветру, к собственному полету!..

На перроне среди шума и толкотни, под звуки оркестра и громкие речи с трибуны вожаков партии и комсомола плачет моя интеллигентная бабушка. Она любяще смотрит на меня – раскудрявую, возбужденную, полувывиснувшуюся вместе с другими из окна вагона – и про-

мокает глаза платочком. Мне стыдно: я «целинница», почти героиня, а тут какая-то бабушка, как из другой эпохи. Хочется, чтобы она поскорее ушла, испарилась, исчезла. Я не какая-то «мамина дочка». Но она в своем выношенном пальтишке, поверх шляпки повязанная вязаным ажурным платочком, все стоит, промокая глаза. И, наверно, одна среди этой шумящей толпы понимает всю горечь происходящего. Она мудра, она знает латынь и французский, она родом из XIX века, из мелкопоместных дворян, у нее за спиной полвека жизни. Революции, войны, репрессии – все ее. Молча протягивает мне свои перчатки, сетчатую авоську с гостинцами на дорогу. И еще в газетке – скорбный букетик белых промерзших хризантем. Словно кладбищенский. Цветы? Ну, это уж было слишком. И я прячусь в вагон, к новым подружкам, друзьям, не понимая, что именно сейчас кончается мое почти беззаботное отрочество, начинается иная, совсем иная жизнь. Но вот протяжный гудок паровоза и за морозным окном вместе с толпой и гремящим оркестром трогается и... медленно уплывает бабушкино бледное, трагическое лицо, ее лик. Он навсегда уплывает в прошлое. (Прости за все меня, бабушка, незабвенная Зинаида Ивановна Трошева, Зина Никольская, урожденная в 1894 году, в Нижнем Новгороде, от врача, воевавшего на Шипке, и дочери священника. Похоронена мной в Москве на Введенском кладбище в 1988 году.)

...За трое суток пыхтящий поезд темной гусеницей провез нас по снегам сквозь полстраны и, наконец, словно обессилив, остановился в предгорьях Алтая, в старинном городке Бийске, где железная дорога кончалась. Дальше к монгольской границе, поднимаясь все выше в горы, шел Чуйский тракт в семьсот километров.

Быстро темнело, по-февральски пуржило. На маленькой привокзальной площади, похожей на станционную, нас ждали разномастные обшарпанные совхозные грузовики. Цепляясь друг за друга, сквозь снег и свист добрались до них. Покидав чемоданы и узлы через борта, устроились в кузовах вповалку, прижались друг к другу, чтоб потеплей. В кабинах возле шоферов – только семейные, только те, кто с детьми. Были у нас и такие, с московского автозавода им. Лихачева. И вот, наконец, из деревянного одноэтажного городка пошла по Чуйскому тракту, надсадно гудя сквозь пургу, колонна машин в неверном, пляшущем свете фар, словно на ощупь, вдоль двух стен белой тайги. А холод жуткий. Заматываю вокруг шеи длинные уши белой вязаной шапочки, поджимаю ноги в суконных городских ботиках (теперь и названия такого нет), сжимаюсь в комок, придавленная вещами. Все это в планы мои о свободе совсем не входило. Почему-то вспоминаю слышанную от останкинской шпаны песенку о печальной любви: «Есть по Чуйскому тракту дорога, много ездит по ней шоферов, но один был отчаянный шофер, звали Колька его Снегирев. Там на «форде» работала Рая и бывала над Чуей-рекой. Легкий «форд» и тяжелая АМО друг за другом гонялись стрелой...» Колька, конечно, погиб из-за бессердечной Раи, рухнул с машиной в реку. Догонялся за ней без взаимности. Так неужели ж это и есть тот самый Чуйский тракт, по которому ездил когда-то несчастный Колька?.. В зверском морозе течение времени вскоре как бы остановилось и заочневшее тело уютно слилось с дрожью машины... Остановку же скорее почувствовала, чем поняла. Глуховатый крик нашего шофера «Сро-о-стки!» прозвучал словно крик о спасении «О-о-стров!» или «Земля-я!». Машина стояла в снежной круговерти на улице какого-то неизвестного села со странным названием Сростки. Слышался лай собак, слабо желтели пятна светящихся окон. «Ночевать по избам пойдем, – кричит шофер. – Нам тут за Катунью километра три осталось. Завтра доедем». Стучим в ближайшие ворота. Слышен глухой лай. Открывают не сразу. Женский голос резко кричит: «Борзя! На место, на место!» В белом пару вчетвером – кроме меня и шофера еще молодая семейная пара – вваливаемся в избу. (Остальные пошли по соседям.) Отряхиваемся. Жарко топится печь, уютно пахнет кисловатым деревенским жильем – хлебной опарой, деревом. И хозяйка, полноватая, широкоплечая, в вязаной кофте, низко, до бровей, как кержачка, повязанная платком, скрестив руки под грудью, глядит на нас сурово, словно бы осуждающе: «Ну заходите, однако, коли пришли». У дверей оставляем пожитки, раздеваемся,

с ног течет на светлые выскобленные половицы... Потом сидим в горнице за столом, покрытым старенькой клеенкой, местами вытертой добела. По клеенке там и сям лиловые чернильные пятна. Видно, хозяйские дети тут уроки учили. Смотрю, и правда: на подоконнике меж цветочных горшков – чернильница-непроливайка, а над белой кружевной постелью, в рамочке – фотографии двух детей: скуластый мальчик и девочка поменьше. «Это откуда ж вы будете?» – Хозяйка ходит по избе спокойно, неслышно, как плавает, по полосатым домотканым половикам. Полна какого-то внутреннего, по-крестьянски спокойного достоинства. Ставит на стол нам, буквально первым встречным, тарелки с капустой, огурчиками, ломтями сала. «Целинники это, мамаша. Слыхала? – усмехается наш бийский шофер, закуривая «Беломорканал». – Теперь соседями будете. На той стороне Катуня ихний совхоз будет, «Урожайный». Так что зимой сюда напрямки бегать будут, а летом – паромом». Хлопоча у печи, хозяйка спросила: «Это как же так понимать: урожаю, однако, нет и в помине, а они уже нареклись «Урожайный»?» Шофер смолит папироску, морщится, как от зубной боли: «Ох, несознательная вы, мамаша. Это ж не наше дело. Это решение партии и правительства... Ну, вам по возрасту простительно». Хозяйка обиженно поджимает губы: «Какая я тебе мамаша?» – Картинно, помолодому поводит плечом, шурит острый взгляд, и вдруг я вижу, что эта женщина еще не старая, крепкая и даже красивая. Не взглянув на шофера, вдруг спрашивает меня строго: «Да откуда ж вы все-таки будете? А то ночуете, а откуда – неизвестно. Неудобно так-то». «Из Москвы», – говорю; меня знобит, с болью ломит отходящие ноги, веки смежаются. «Из самой Москвы? – Она почему-то замирает с тарелкой в руке. – Или же рядом откуда?» «Из самой, из самой...» Лицо ее сразу заливают улыбка. Она уже по-иному, словно родственников, оглядывает нас поочередно: «Господи, у меня ж сынок там учится, Вася. Вот жду на каникулы. Он в этом... как его, ну, что в кино-то работают. Общежитие у них возле Выставки, целая комната, на три человека. – Кивает на стену. – Вон он с сестрой Наташкой. А вон его похвальные грамоты школьные. А тут он матросик... Вот пятна его чернильные капустным рассолом вывожу. Клеенку-то новую разь нынче купишь?.. Письма мне пишет, ну а то как же. – И забегала как молодая. – Угомон, однако, вас, молодых, не берет. Одни туда едут, другие оттуда. Это что ж, родителей-то бросают на одиночество?» И задымился над столом пар от картошки, и появился граненый графин с желтой мутноватой бражкой из погреба. «Пейте, милья, угощайтесь. Может, и Васю мово кто там приветит, студента мово, голубиночку. Поди, и в Москве добры люди живут... Я тут триста рублей ему скопила, в Бийском поросеночка продала, на пальто отослала... Только вот не знай, купит, не знай – нет... Вы ведь молодые какие. И потратить можете... А в Москве, поди, нынче тоже метет? Не дай Бог. Я все погоду-то по радио слушаю, как там да чё...»

Уже за полночь. Меня совсем сморило. А попутчики обжились, разговорились. Графин кланяется над стаканами не уставая. Щедро льется бражка-медовуха. «И ты пей с нами, Марья Сергеевна... Пей, тетя Марушь...» Она подносит то моченых (в кадке с капустой) алтайских арбузиков, красных и сладких, как вино, то яблок, то квасу. И сама развеселая, ясноглазая, как яблочко в праздник: «Пейте, милья, ешьте... Не знай, что мово Васю в Москве этой ждет... Чтой-то будет с моим голубочком... Пишет, не горюй, мама, милья, я здоров. Вернусь, буду Борзю воспитывать. Это собака наша, что вас встречала, его любимица. Скотинку-то Вася любит... А в декабре написал, что Бродягу-то этого, что в индийском кино играл, он своими глазами видел. Тот к ним из Индии в институт приезжал. С артистками...»

Ноги мои поутихли. Сижусь, но уже засыпаю, не слушаю про какого-то Васю. Она тербит меня: «Однако совсем заколела ты, девка, тебе угреться надо, вот чё. Не то захворает. Хлебни-ка вот... И вставай-ка, вставай...» Хозяйка отправляет меня на теплую печь, на лежанку, где сушатся шуршащие семечки, где от ватников по-домашнему сладко пахнет сеном, соломой, поскотиной. Кидает мне на лежанку тугую цветастую гусяного пуха подушку. «И чё все неймется? Все ездют без дела, все топчутся, зря землю тревожат». И задергивает на печи,

как театральный занавес, пеструю занавеску. «Ладно, спи с Богом». Я засыпаю и слышу сквозь дрему приглушенные голоса за столом...

Милая Мария Сергеевна Шукшина!.. Я неизменно храню в памяти нашу многолетнюю дружбу, храню Ваши теплые бесхитростные письма, шерстяные овечьи носки, присланные в Москву посылочкой вместе с семечками и облепиховым вареньем. Они грубоватые и колючие. (Уже столько лет на них посягает московская моль.) Вы сами вязали их долгими вечерами (клубок дергался на полу в чугушке). Сами, как всегда, пряли жесткими, уже непослушными пальцами белую шерсть. Как тогда в ту зиму, когда вы спасали нас, промерзавших в палатках девочек-механизаторов, своим гостеприимным теплом. А наш скудный рацион из одной лапши разнообразили вашей квашеной капусткой и мочеными яблочками, которые я приносила из Сросток. (Тогда поговорка родилась в «Урожайном»: «Суп – лапша, река – Кокша, Ирина – Ракша».) Помню, в первый же буран вы приютили меня. Когда нашу солдатскую десятиместную палатку на «Первом отделении» ночью обрушило на нас, спящих, и унесло в степь. (Помню ужас этого пробуждения.) Унесло и круглую печку-буржуйку, и чемоданчики из-под коек с нехитрыми девичьими пожитками – туфельками, бельем. А по весне, когда мы уже распахивали вековечную целину (воображала, как некогда по этой земле ступали мамонты, потом – топтали копытами Тамерлановы кони) и искренне надеялись, что спасаем страну от голода, а я, раскудрявая, в сапогах и ватнике, на тракторе «Сталинец-80» гордо «проводила первую борозду», мы неожиданно находили в полях наши разметанные вещички. То девчата, а то и парни, вернувшись с работы на тракторе, со смехом подвозили почти вплотную к вагончику на палке то чью-то перепачканную рубашку, то юбку, а то и бюстгальтер: «Чье имущество?.. Разбирай!»

Достаю из старенького фибрового чемоданчика (теперь нет ни материала, ни слова такого) «целинные» фотографии разных лет. Вот мы с Вами, Мария Сергеевна, сидим за тем самым столом, за которым Ваш Вася делал уроки. Рядом девчата – Вера Губанова (она сгорела потом на току), Фомичева Тося – маленькая, с толстыми косами (орден Ленина получила за первую уборочную), местный парнишка-немец из высланных поволжских – Роберт Кем (мы вместе десятый класс кончали). А вот и Вася Шукшин в тельняшечке, он постарше нас, сидит на подоконнике в нашем недостроенном целинном клубе, где он, студент ВГИКа, впервые со сцены читал зрителям собственные стихи. Помню только прекрасное «Кони в ночном», почти тургеневский «Бежин луг»:

Ох, разыгрались кони в поле.
Поископытили красну зарю.
Что они делают? Чью они долю
Мыкают по полю? Уж не мою ль?

Мы веселы и дерзки, и у нас все еще впереди. Мое возвращение в Москву, поступление во ВГИК, о существовании которого до встречи с Васей я и не знала. Еще впереди наши веселые студенческие, «винегретные», нищие свадьбы в общежитии. Эмалированный таз винегрета. А выпивка – что принесут. Его жена (после первой алтайской красавицы – одноклассницы с длинными косами Марии Шумской, с которой он так и не развелся официально, просто «потерял» в Москве паспорт) – актриса Лидочка Александрова (помните чернобровую красавицу-библиотекаршу в фильме «Живет такой парень»?). Позже – рождение в Москве первой Васиной дочки Катюши (ее мама – Вика Сафронова) и нашей с Юрой Ракшой – Анюты. Мы еще молоды и бессмертны.

Вот сложенный вчетверо лист. Весь истертый за сорок лет, как старая промокашка. Это стихи. Лиловыми чернилами. Еще «лягушкой» – металлическим перышком «дошариковой» эпохи, моим скверным пляшущим почерком.

Ночь, середина сентября.
В саду, средь яблок переспелых,
Мое распластанное тело
Несет огромная земля.
И это безрассудство – жизнь.
Здесь, у виска, под тонкой кожей
Ее рукой потрогать можно
И беззащитность ощутить.
И ощутить ее тепло
И неразрывное единство:
Тут мыслей тайное витийство
И боли хрупкое стекло.
И стонет сад, как океан,
И ветер листья рвет и мечет,
А может, это дышит вечность?
Ведь здесь приют лишь краткий дан.
И падают, шурша, во тьму
С ветвей янтарные планеты.
Я на краю вселенной где-то
Осенним воздухом дышу...

А вот еще старенькая черно-белая фотография. Мы сидим с Марией Сергеевной уже в Бийске за тем же столом в кооперативной ее квартирке, купленной ей позже сыном на свой гонорар и деньги от проданной избы. Ведь он уже снял два своих первых фильма... Вы постарели, Мария Сергеевна, посуровели. Дочь замужем, сын далеко. С семьей у него не клеится, хоть и растет Катюшка.

Все в одиночестве, в многолюдном одиночестве. Как всегда, на вас низко повязанный темный платочек, и еще – круглые очки на веревочке по затылку. Не помню, кто нас с Вами снимал. Кажется, Ваш внук, Васин племянник... А вот это – письма Ваши. Ничто так, как Слово, не раскрывает сути человека, даже его характера. Недаром Слово было «вначале». Ваши письма «без грамоты» (до войны едва научилась писать) щемяще трогательны, и почерк корявый, и подпись «Мария Куксина». (Вы дважды вдова. Два мужа было: один репрессирован, другой убит на войне.) Как дороги мне эти школьные, в линейку и клетку, листочки, аккуратно вырванные из тетрадки. Живо представляю, как Вы уже в этой бийской квартирке неслышно ходите по деревенским полосатым половикам, привезенным с прочим скарбом из Сросток, выбираете конверт покрасивее (все же в Москву!) и, присев к столу и опустив на глаза очки, старательно, как школьница, выводите непослушные буквы. «Здравствуй, дорогая моя Ирина... называю тебя дорогая, раз не забываешь меня и мово родного сыночка, навесить меня хочешь... Да в каком бы я ни была состоянии, больная я или получшало, приезжай. Буду рада до слез...» Но плакать последние годы она уже не могла. Глазницы были сухие, глубокие, как выжженные. Все выплакала на похоронах Васи в Москве. На похоронах «сыночка мово, голубиночки ясной, к которому полетела бы на могилку, припала бы сердцем к земле и уж боле не встала бы, да болезнь не пускает»...

Пробегаю глазами неровные невеселые строчки писем. Ее не может утешить мысль «чем глубже страданье, тем ближе к Богу». Она не знает ее. Мысленно вижу Марию Сергеевну – очень разную, в разные моменты жизни – великодушную и суровую, простую и хитрую, добрую и мудрую, некогда крепкую крестьянку, на плечах которых выдюжила-таки за черные, «советские» десятилетия наша земля. Вот она вместе с сыном, гордо, лукаво улыбающимся,

потому что – на фоне нового, только что собственноручно построенного им сарая. Вот она возле стайки. Вот – за столом, как сама говорила, «головой больная» и уже придавленная горем утраты, в бийской квартире, называемой ею «избой». (Прилетела я к ней зимой, Москва – Барнаул – Бийск, поднялась с сумками на второй этаж девятиэтажного многоподъездного дома, нажала кнопку звонка. Дверь отворилась, и я услышала: «Ну прибыла, слава Богу. Давай заходи скорей, а то избу выстудишь».) Квартирка (теперь двухкомнатная, от исполкома) была ею превращена в музей памяти сына. По стенам – картины, фотографии, рисунки, и все – Вася, Вася, Вася. И вместе они или врозь, всегда были сообщающимися сосудами. Мать и Сын.

Последние письма ее очень мужественные и... интимные. В них много разного, порой горьких обид, которые я сегодня, пока живы участники тех событий, не могу обнаружить. Однако Мария Сергеевна, например, пишет: «...Я никому на сиротство свое не жалею. И только вы, дорогие Ирина и Юра, вы Васю хорошо знаете и я как родным открыла свою душу... а другим никому не говорю, ниудобно...» «Ира, увидишь там Лиду, скажи пусть велит дитям письмецо написать бабке. Хотя бы два слова. Я им к празднику послала варежечки... А то люди спрашивают, внучки-то пишут? Говорю, пишут, а показать нечего...» «У меня от старых страданий сердце не очистилось. Думала, выращу детей, полегше будет, а оно вон какое несчастье настигло, всем горям горе. Все старые горя из головы вылетели, старые страдания заглушились. Рвет сердце неутешимая боль. Да вот думаю, не заслужил он этого, покойный дитенок мой...» – к концу этого письма почерк слабеет, уже чуть различим: «О себе написать забыла. Всю зиму болею, давление ведь не вылечивается... Носки вам отправила и думала одну карточку Васину положить... Мне бы маленько полегчало, я бы к Васи полетела, голубочку ясному, ну, загадывать не буду, не надеюсь на себя... До свиданья, дорогая, будьте здоровы, с глубоким уважением, Мария С.»

Потом она старательно надписывает конверт, привычным жестом поднимает на лоб, поверх платка, очки и идет к окну «глядеть погоду» (как испокон делают поутру крестьянки) и ждать внука или племянника, который заглядывает к ней порой – «чо ни то помочь».

...Помню, как-то летом, на съемках, в жарком, пыльном Бийске мы сидели с Васей на скамейке у гостиницы в ожидании машин, чтобы ехать вверх по Чуйскому. Каждый со своей группой, своей дорогой. Он снимал «Печки-лавочки», я, как сценарист останкинского «Экрана», автор сценария, с режиссером М. Рыбаковым – документальный фильм «Горный Алтай». Всю неделю Вася среди своей запарки и суеты выкраивал для нас время, помогал раздобыть для съемок грузовую машину. Сам ходил куда-то к секретарям во всеильный горком компартии, ходил в исполком – и, наконец, все уладил.

Солнце пекло наши обветренные лица, вдали блеснул купол единственно невзорванного (большевиками) Божьего храма Пресвятой Троицы. Ветер скучно гонял бумажки по площади. Скорее хотелось уехать вверх по Чуйскому, вдоль быстротечной Катунь, на природу, на свежесть. Шукшин – до своих Сросток, мы – выше, до перевалов Семинский, Чегет-аман, Иня. «А ведь я мог теперь тут начальником быть, – вдруг задумчиво сказал он, покуривая. – Меня в юности комсомольским вожаком сделали. От района. Считай, почетно – выдвинули, назначили. Ну и возгордился, конечно. Распавлинился... А потом... испугался». – Взглянул на меня испытующе, наблюдая реакцию, помолчал. «Чего?» – все же спросила я. Он, глядя вдаль, ответил жестко, на щеке желвак дрогнул: «Испугался, что понравилось в президиуме сидеть. На сценах торчать... Вот ведь что». (Потом, в жизни, для нас с мужем эти слова стали почти семейным тестом. Например: «Что с него взять, он из президиума» и пр.)

В Москве Василия Макаровича (величать по отчеству мы стали его лишь после смерти) ... человека в общем-то сурово-молчаливого, всегда облепляли какие-то люди, какие-то женщины. Да он и сам порой был подвержен страстям, порой увлекался в запой, порой был «сам обманываться рад». (Одних только жен у него было три.) И он иногда приходил к нам в мастерскую отдохнуть, помолчать, посоветоваться, послушать. Через нас выверить что-то свое. И еще

ему трепетно нравилась Юрина работа за мольбертом. Нравился терпкий запах масляных красок, пинена; поражало – появление из небытия, словно ребенка, этюда, рисунка или просто выразительного наброска. Он умел поклониться, сердцем сорадоваться другому мастеру. Особенно если это художник. Вообще у них с Юрой было много общего и какое-то нежное отношение друг к другу, с шутками, юмором. На людях было лукавое подмигиванье, понимание друг друга. Словно оба знали нечто сокровенное, нечто большее, чем остальные, да это, собственно, так и было. Они шагали по одной дороге и в одну сторону и совпадали почти во всем. Оба были дарующими, не берущими. «Помоги, Господи, дать», – порой говорил перед иконой Юра. Они оба, например, больше любили угощать, чем есть. Дарить, чем получать подарки. Просто обожали что-нибудь дарить! (Вася, например, однажды идя в гости к знакомым, где в семье новорожденный, накупил – не обхватить – кучу пеленок!) Они оба были одинаково безразличны к деньгам. Легко расставались с ними. Не умели беречь, считать. (Вспоминаю поддавшего Васю на верхней лестничной площадке студенческого общежития. Он счастливо «раздавал» долги. Озорно, без сожаленья, бросал вниз купюры, первый серьезный свой гонорар (хотя был еще нищ), и деньги летели в проеме медленно, картинно, как осенние листья.) Думаю, они с Юрой оба в пятидесятые, как Гулливеры, шагнули... вернее, одним огромным шагом переступили (один с Алтая, другой с Урала) в столицу и стали в ней адаптироваться, обживать, упрямо пытались сохранить себя, свое достоинство. И сохранили, потому что от Бога были душою объемно-крепки, потому что в характерах не было никакой фальши или искусственности. Но главное, при абсолютной бытовой скромности у каждого было четкое осознание своей значимости и роли на земле. Своей миссии. И постарели они быстро, уже к сорока пройдя полный круг жизни и став мудрецами. КПД их коротких жизней был настолько высоким, что еще и на других хватило бы. Они все успели! Так что не было никакой несвершенности, над которой порой сокрушаются критики. Господь воздал им щедро, мощно, сполна – не поскупился.

...Мастерская наша (тогда и жилье) была в Сокольниках, в полуподвале старинного четырехэтажного, набитого беднотой кирпичного дома по улице Короленко, 8. (Мы платили какие-то деньги в какой-то арендный фонд и в шутку назывались на этой самой улице Короленко «детьми подземелья». Это Вася придумал.) Целый день за окнами в решетках (какие нарядные шторы ни вешай, решетка оставалась решеткой) – мелькали только проходящие ноги. Разнообразные ноги в разнообразной обуви. Смотря по сезону. И еще, как фон, на той стороне улицы виднелся витой старинный забор вендиспансера, а вернее – кожно-венерологической больницы, под раскидистой листвой. По вечерам высокий больничный забор хитроумно и неутомимо-упрямо одолевали развеселые гости – посетители обоих полов – дружки и подружки больных. С закускою и бутылками в сетчатых «авоськах-нихераськах». Все уникальные, замечательные персонажи. Это был прекрасный второй план для мелькающих за окнами ног – первого плана. Так сказать, готовая мизансцена. Мы с мужем даже придумали такую игру – по проходящим ногам определять людей, отгадывать облик, характер, суть. Задумали даже снять такой маленький документальный фильм-притчу, миниатюру. Я набросала план сценария, Юра нарисовал раскадровку. (После ВГИКа он работал уже на «Мосфильме», снимал с ведущими режиссерами полнометражные кинофильмы.) Но мы, до смешного тогда наивные, конечно же, просчитались. Не понимали еще, что даже в оттепель шестидесятых все это, естественно, никому не нужно. Ведь в сценарии не было положительных героев-тружеников, никто там не брал повышенных обязательств. Не было даже обычно принятой борьбы хорошего с очень хорошим. (А сколько у нас по-настоящему ярких, глубоких замыслов не было осуществлено, исчезло, сгинуло.) Ведь, чтобы снять или опубликовать что-то подлинно стоящее, мы, как и все, должны были бороться, хитрить. И потому, как могли, осваивали эзопов язык. Порой мастерское владение им и считалось талантом. Зачитывались «Новым миром», «Знаменем», книгами Рыбакова, Гранина, Трифонова. Прощали авторам и посредственности языка, и художественную ординарность. Выискивали в подтексте отчаянные, как подвиг, близ-

кие нам честные мысли, крупницы правды. Найдя, радовались вздохом! Цитировали. Подтекст становился текстом. Вообще наше поколение осуществлялось не благодаря, а вопреки. (Уже расхожая фраза.) И собиралось по кухням не только единомыслием, но еще и от тайного страха, чтоб все же почувствовать не-одиночество, теплое плечо не просто со-временника – со-ратника.

... Вот прочла все написанное, подумала: не длинно ли, интересно ли?.. Пифагор, что ли, сказал – лучше семь лет молчать, чтобы потом хорошо высказаться. Ну, мы-то куда как дольше молчали и не могли высказаться...

Часто, проснувшись в мастерской после ночного дождя, мы с Юрой с ужасом опускали ноги в воду. По комнате плавали тапочки, вдоль плинтусов бегали очумевшие мыши. Мокли ножки мольберта. Но в остальном на Короленко нам было уютно и, в общем, тепло и счастливо. Это была в Москве, пожалуй, единственная картинная галерея в подвале. Развешанные, часто без рам (лишь холсты на подрамниках), пейзажи, портреты, этюды напрочь скрывали наши ободранные сырые стены. А обклеенные яркими журнальными вырезками двери и стены туалета (кстати, постоянно шумящего, как водопад) положили в Москве начало новому «подвальному» дизайн-стилю. Однажды на свалке Юра подобрал лист жести, а на нем – напечатанный трафаретом плакат «Мосэнерго». Всего в три слова: «Кончил – выключи рубильник!» Мы прикрепили его в туалете, где обычно курили гости, и предвкушали эффект. И не ошиблись. Помню, Вася, придя к нам и зайдя в «водопадную», громко там хохотал. (Это бывало с ним очень редко.) И даже просил нас подарить ему это «произведение».

В 1965 году у нас родилась Анютка. Однако мы жадно работали. Летали, ездили на съемки. От Союза писателей, от газет и журналов – в командировки. А какие друзья собирались у нас, какие пелись под гитару песни-надежды, какие с ходу сочинялись стихи!!! Вот с бокалом в руке Эдик Зарянский:

«Рождений наших дни – вдали, / И мы, как трезвые мужчины, / Не очень любим годовщины, / Но и не любим быть одни. И, чтобы в дату юбилея / В хрусталь ударить хрусталем, / Мы женимся, сперва немея, / Ну а потом... потом живем. И каждый год, о совпаденье, / Что родились в одно число, / Зовем друзей для соблюдения / Чередований вин и слов... / Дружья все в сборе – как в соборе. / Уж торжество так торжество! / Мы родились. О, волшебство! / И мы живем. Творим и спорим». (Наши с мужем дни рождения разнились в несколько дней – 19 ноября и 2 декабря. И мы всегда праздновали их вместе.)

Юра, рожденный в нищете уфимского барака, терпеть не мог у коллег-художников грязных, прокуренных, заплеванных мастерских. Сам любил мыть пол, наводить порядок. По хозяйству во всем мне помогал. На грязь у него была аллергия. Протест. Он всегда жадно тянулся ко всему красивому, чистому. Именно там, на Короленко, он работал особенно легко, вдохновенно. Порою неистово. Там написал многие программные свои картины (которые теперь в Третьяковке): «Мою маму», «Настроение», «Домой», «Разговор о будущем», «Добрый зверь и добрый человек». Несмотря на нехватку света – самые солнечные, ясные, янтарные свои полотна. Чаще всего позировала ему я. «Иногда нам, художникам, везет иметь музой любимую жену!» Это всерьез. А в шутку: «Самая дешевая натурщица – собственная жена: платить не надо». Но и когда рисовал моделей, знакомых и малознакомых женщин, он каждую словно венчал на царство.

(До смертельной болезни – лейкоза, до последней, главной своей живописной картины «Поле Куликово» и до КОНЧИНЫ ему оставалось всего восемь лет.)

Приходя к нам «в подземелье» в гости, Вася обычно садился на корточки у стены, чуть вывернув в коленях ноги, непременно спиной к горячей батарее отопления, и молча курил. У него часто, как и у Юры, «профессионально» болела спина, поясница. (Видно, говоря в шутку, в ту давнюю зиму 1955 года теплого пальто на материнские триста рублей, полученные с Алтая, он так и не купил.) И вот, сидя у батареи, Вася любил, подолгу мог наблюдать, как Юра с палит-

рой, с кистями и пестрой от красок тряпкой в руках что-то спешно дописывает, как всегда стараясь «успеть к выставкому». Или просто за столом, с листом ватмана на коленях, шурясь и склоняя голову набок, неспешно делает наброски. И было тогда неведомо, да и сегодня, впрочем, не верится, что нашими именами (Ракша, Иринара, Шукшин) позже, в разные годы и независимо друг от друга, ученые РАН РФ назовут во Вселенной три близкие друг другу планеты, что на орбитах между Марсом и Юпитером. Эта честь нам тогда показалась бы до смешного нелепой. Вася с Юрочкой по этому поводу насмеялись бы, наюморили вдоволь... Вот в один из таких вечеров невзначай и как бы легко Юра и нарисовал прекрасный Васин портрет. Сперва, не муча натуру, он сделал широкий, выразительный карандашный набросок. И уже потом, без «модели», дорисовал, проработал. Кропотливо, серьезно. Этот портрет, на мой взгляд, не похож ни на один из шукшинских. Он своеобразный, мудрый, в нем есть особая магия. Образ вобрал в себя черты и всего Человечества, и конкретные – Шукшина, и еще – художника-автора. Это не фотография, это неизмеримо объемней – это философское обобщение, размышление. Художник погрузился в самую суть персонажа. Так понять, так расшифровать Шукшина смог только большой художник. Вглядитесь в эти черты. В скуластое, мужественное лицо русского простеца-мудреца, в Лик бывшего крестьянина, ставшего в итоге глубоким интеллигентом. Ракша постиг его мысли и даже комплексы. Ведь Юра сам прошел этот путь – из глуши на Парнас. Путь в сплошной несвободе. Трудный, болезненный, с ломками, срывами. Они оба шли в одну сторону, по одной дороге, одновременно. И это была дорога к Храму – путь духовного очищения, восхождения. (Однажды Юра сказал участливо: «Понимаешь, нам с тобой было легче. Нас всегда было двое. Мы были – «мы». А с ним кто?») Вася был жаден до знаний и все как бы наверстывал упущенное с детства. Словно чувствовал, что жизнь будет короткой, что надо быстрее, плотнее жить. (Отсюда и все его «завихрения».) Помню его потрепанные абонементные карточки в институтской библиотеке, в читальне. В них – битком набитый список сотен прочитанных, проглоченных книг. От Платона и Библии до Шопенгауэра, от Уайльда до Достоевского...

Однако работать с Шукшиным в кино Юра не собирался. С Васей работал хороший художник Пашкевич. И замечательный оператор и человек – Толя Заболоцкий, чем-то внешне похожий на писателя Васю Белова. Недавно я встретила Толю в метро, он стоял на переходе у «Белорусской» с шапкой у ног. На меня это, как удар, произвело жуткое впечатление. Он продавал свою книгу воспоминаний о Васе, об их общей работе на съемках. Рядом на табуретке стояла стопочка: глянцевые, дорогие, с дивными, классными фотографиями. «Выживать как-то надо, – объяснил он. – Кино лопнуло, не снимаю. А издательство вместо денег книгами вот расплатилось, – улыбнулся невесело. – Штуки две-три в день продаю. А бывает, и ни одной. И милиция гоняет». Мы постояли, поговорили. Купила книжку. Ушла. И такая горечь осталась в сердце. По сей день болит.

С Васей в кино Юра не работал и потому, что не хотел быть с ним слишком «лицом к лицу». Ему достаточно было в кино других силачей: Шепитько, Швейцера, Климова, Монахова, Лиозновой, Куросавы. Достаточно было в кино и разочарований. Считал, пусть лучше «большое видится на расстоянии». Впрочем, и Шукшин, уж если говорить честно, никогда не был вместе со столичной литературной или киношной элитой. Он ей не доверял, был к ней насторожен. Как-то ее опасался, остерегался. Он словно был другой группы крови. Сегодняшние, элитарные шестидесятники – поэты, режиссеры, постоянно мелькающие на экранах ТВ (порой – эмигранты), – вспоминают, как откровения, минуты встреч с Шукшиным. А ведь он с ними вместе никогда не был. Рядом был, да. А чтобы вместе, чтобы «внутри» – никогда. И это – вполне понятная данность.

Он не любил людей «больших». И уверенных, без страха и упрека. Он любил «маленьких», в накинутой на плечи гоголевской шинели. Ему, например, были ближе писатели-деревенщики. Белов, скажем, Носов, другие. Или даже «просто люди», даже знакомые по случаю.

Скажем, слесарь из ЖЭКа, сиделка в больнице, любимый паромщик на реке Катунь, в ватнике, с балалайкой. Вася легко, всегда с радостью обнаруживал в них талант. Помню, уже в Москве зачем-то пришла к нему, в Свиблово. В квартире было шумно, как у водопада: в ванной из крана всюю хлестала вода, а он, забыв обо всем, увлеченно беседовал на кухне за бутылочкой с вызванным для ремонта слесарем – вчерашним селянином. «Нет, ты только послушай, послушай, как говорит!.. Как говорит!» И глаза – живые, сияющие. А тот и правда говорил интересно, попивая и не спеша, как на завалинке: «Ну, значит, они ее и разрезали, маманю-то, а там – труха трухою. Всю грудь ей, значит, раскроили, располосовали. От рака очистили, до костей, чтоб не расползлось, значит. Чтоб жила. И ведь, что характерно, сколь лет прошло, а по сегодня скрипит, топчется. И еще гоношистая, стопочкой не гнушается. Внуков моих тютюш-кает. Вот ведь оно, медицина-то что выкаблучивает. А ты говоришь...»

А вообще-то Шукшин был Прекрасно Одинок. Так сказать, одиночен. Единичен и самодостаточен. Как истинный классик. Он напоминал мне крепкий хутор в степи, где-то на выселках, на заимке (алтайское), который еще и других, заплутавших, в снегах потонувших, спасет и обогреет.

Как-то у нас в подвале, в мастерской, за блинами, которые мы пекли очень лихо, – при вечном безденежье блины с селедочкой были коронным блюдом, плюс сладкий (!) рублевый «Пунш», – говорили о разном. О любви, о матерях. (Юра нежно любил свою рано ушедшую маму.) Вдруг Шукшин сказал: «В Законе Божьем (мы удивились: все тогда были нехристи, редко кто мог раздобыть Библию. – И. Р.) есть такая заповедь – «почитай отца твоего и мать твою и благо будет тебе на земле. И продлятся дни твои»... Так, кажется. А у нас с любовью к родителям, с почитанием – туго. Мы Морозовых Павликов детушки. Вот блага и нет на земле. И долголетье не светит. Все крутимся, суетимся, все не до нежности к старикам. В общем, не успеваем». Юра кивнул: «Я, как мастер, скажу: сам проверил, что-то путное может родиться только из любви. Из ненависти – никогда. Разве что карикатура какая. – Добавил: – А любить – это значит, чтобы тебе, любимой, любимому, было лучше. Пусть даже за счет того, что самому хуже». Вася курил, серьезно молчал. Потом сказал: «Знаешь, ты живешь чисто. Так, наверно, и надо. Как будто ты уже Там. – На жестких щеках дрогнули желваки. – А вот мне еще учиться надо почитать мать свою... Те же деньги ей послать вовремя. Письмецо написать. Она больная, бедняга, а все с овцами там, с поросенком возится. Надо бы ей в Бийске квартиру купить. Больная. А все нам посылочки шлет, с вареньем, сальцем, семечками. Все по старинке. Бойтся, что мы тут недоедаем. Носки всем вяжет, варежки шлет... В общем, учит нас жить по-людски. Вот ведь что... Стыдно. Совесть заела...»

Он вообще в разговорах часто повторял это слово – «совесть». Оно его особенно волновало. Он остро понимал, ощущал, что именно совесть есть та Божья частица, которая должна трепетать в каждом. Должна не давать душе зажиреть, заржаветь. Совесть должна постоянно болеть, давать о себе знать. Он считал, это нормально, правильно, когда болит. Считал, что без совести – это уже подонок...

Сколько же он их в жизни встречал! А ведь сейчас и они его вспоминают, и они цитируют и гордятся. И ладно, и слава Богу. Впрочем, ни при жизни, ни сейчас к Шукшину безразличных не было. Его или любили, или уж ненавидели, как чужого. Потому что втайне боялись, не бытово, конечно, а высшей Сути его. Или попросту, как Каин, завидовали. (У них и тут с Юрой общая участь.)

У нас в семье для новых знакомых всегда был тест. Очень простой. Как говорили в шутку, «проверка на вшивость». «Как относишься к Богу? Как – к животным? И как – к Шукшину?» И о человеке все ясно.

В сильных выразительных пальцах его, как сказал бы художник, «в лепных руках», привычно дымилась сигарета. Как сейчас вижу эти смуглые кисти рабочих рук – клише многих крестьянских поколений. Они всю жизнь что-то делали. Умели и хлеб посеять, и лошадь

запрячь, и трактор водить, а теперь вот и книги писать, и даже тапочки шить. Юра Ракша тогда же нарисовал их. Потом эти руки (уже после Васиной смерти) он напишет в своем триптихе «Поле Куликово». Да и образ самого Михаила Бренка, героя, воина, по сути руководившего битвой, друга и родственника князя Дмитрия Донского, напишет с Шукшина, пользуясь лишь прежними своими рисунками. (В свой последний год Вася бывал у нас с отпущенной бородой – остались наброски. Он на себе обкатывал предстоящую и не сбывшуюся роль Стеньки Разина.) А несколько лет спустя, в 1980 году, на полотне «Куликово поле» Шукшин (с бородой) был написан художником в главной сцене. Перед началом сраженья – прощание двух друзей, Бренка (Шукшина) и князя Дмитрия (Юрия Ракши). Это их последний рассвет на берегу Непрядвы и Дона. Рассвет перед боем. Перед смертью и перед бессмертием. Так Шукшин в картине художника сыграл еще одну свою роль – последнюю, посмертную.

Дописывая триптих, за неделю до собственной кончины, Юра скажет мне: «У каждого должно быть свое поле Куликово». И оно у нас было. У каждого свое.

...Последние годы я нет-нет да и заезжала на улицу Короленко. Навещала, как старого друга, столетний красного кирпича дом номер восемь, наше прекрасное «подземелье» с полуподвальными окнами. В мастерской уже не было его «детей». Не было ни Мастера, ни Маргариты. Обычно молча я стояла напротив, под старыми кленами, у забора того же кожно-венерологического диспансера, который, переполняясь, процветал пуще прежнего и который, как прежде, атаковали, казалось, все так же гости. А за полузабитыми, как в войну, фанерой пыльными окнами нашей мастерской уже давно был какой-то склад. Но я легко, свободно блуждала мыслью там, внутри, по сырым темным комнатам, хранившим память о наших образах и головах, по комнатам, где нам, молодым, жилось так радостно и светло.

...А недавно, повернув руль на улицу Короленко, неожиданно въехала в совершенно иной, неизвестный, инопланетный мир. Оказалось, наш дом (да и пол-улицы) уже снесли. И теперь на том месте нездешне-элегантно сверкает стеклами и алюминием какой-то крутой, поднебесный банк. Что ж, нас всех, как огромной волной, захлестнуло новое время. Правда, из прошлого остался все-таки (как никогда понадобился!) этот самый вендиспансер... А вот вместо студии Мастера теперь коммерческий банк. Вместо «Юности» теперь «Плейбой». Вместо песен – хиты и попса, и андеграунд. И все Маргариты нынче – дивы крутые и дорогие, и «клёвые»... Хотя одновременно – вместо лиловых чернил в непроливайке и стального перышка – компьютер, модем, Интернет. В общем, каждому времени – свои песни.

...Передо мной на столе лежат Васины письма, фотографии разных лет и все, что связано с тем периодом жизни, с алтайской моей целиной. Тут Сростки и «Урожайный», грамоты за успехи на посевной и уборочной. И еще – наш студенческий ВГИК, где, помимо всего, научилась я на уроках актерского мастерства без запинок, бегло, играючи произносить почему-то запомнившуюся скороговорку: «Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали...» Помню, до хохота тренировались в аудитории вместе с будущей актрисой Ларисой Лужиной... В общем, «минувших лет забытый след». Тут – все три, например, Васины дочки. Старшая, Катя. Она и отдельно, и с мамой – Викой Сафроновой. (Какие все молодые!) А вот – младшенькие, эти вдвоем – Машенька с Олей. Есть и с мамой, красивой Федосеевой Лидой, – все счастливо, солнечно улыбаются. Это когда они были в Сростках на съемках. А это уже мы с Юрой и нашей Анюткой. Не случайно одну из своих картин Юра мудро назвал «Продолжение». Воистину, все девочки наши – достойное продолжение. Юра вообще придавал большое значение названиям своих работ. Названия эти всегда глубоко осмыслены, программны, несут суть задуманного: «Благословение на битву», «Предстояние», «Разговор о будущем». Как, впрочем, и у Шукшина: «Беседы при ясной луне», «Верую», «Выбираю деревню на жительство».

...В кипе писем и фотографий – все вперемешку, как в самой жизни. Вот оторванная яркая обложка журнала «Советский Союз», за март 1956 года. Цветной во всю страницу фотопортрет голубоглазой румяной девчонки-целинницы. «Ударница зерносовхоза «Урожай-

ный»... Награждена медалью «За освоение целинных и залежных земель». (На бронзе медали выбиты хлебное поле, комбайн и знамя.) Голубоглазая девчонка в ушанке и белом полушубке стоит в вагончике у окна и, приподняв занавеску, картинно смотрит куда-то вдаль. Наверное, в непогожую степь, на сизый хребет Бабурхан, что тянется по горизонту. А может, слушает горячую, бодрую песню, ставшую гимном первоцелинников: «Родины просторы, горы и долины, серебром одетый зимний лес грустит. Едут новоселы по земле целинной, песня молодая далеко ле-е-тит. Ой ты, дорога длинная, здравствуй, земля целинная, здравствуй, простор широкий, весну и молодость встречай свою...» У девочки на обложке журнала – неприлично грязные ногти. «Под ногтями чернозем – сразу видно: агроном»?.. Вспоминаю, как приехавший к нам той зимой из Москвы легендарный старик Яков Халип, военный фотокорреспондент, который чуть ли не Рейхстаг снимал в мае сорок пятого, буквально замучил меня, щелкая в разных позах. Ради этого меня бригадир даже на целый день снял с работы. Фотографировал он и так, и этак. И возле тракторов, и в конюшне. С веселой дворовой собакой и без. В подшитых валенках и стеганых брюках, красовалась я и на траках гусеничного С-80, и обнимала неприканную березу у пилорамы. Наконец, уставшие, вернулись в тепло, в вагончик, где топились и потрескивала чугунная раскалившаяся буржуйка. И тут, уже последним кадром, Халип решил щелкнуть меня у окна, велел приподнять белую занавеску. Этот кадр оказался лучшим.

А позже, когда журнал уже вышел, мне посыпались сотни солдатских писем из разных воинских частей со всей страны. Писали пехотинцы, летчики, моряки. И уйму фотографий слали – одиночные и групповые. И все – бравые, симпатичные. Однажды в этой кипе я наткнулась на очередное тихое, слезное бабушкино письмо. Про журнальный портрет в нем – ни слова. А вновь и вновь бабушка умоляла меня опомниться, вернуться в Москву, поступать в серьезный вуз, например Тимирязевку, и учиться, чтоб стать человеком. (Она и не подозревала, родная, что я, вернувшись, поступлю в тот самый, «где Вася», неизвестный мне прежде ВГИК, встречу там Юру и все это навечно определит мою судьбу.) Но тогда среди шума, восторгов и прочих девичьих эмоций бабушкины слова были как глас вопиющего в пустыне. Помню, что от обилия писем тексты я уже не читала. Сохраняла лишь фотографии, и то только те, что нравились. По вечерам в теплушке за длинным столом мы с девчатами со смехом их обсуждали, разбирали, раскладывали, тасовали, как карты. Одна из подружек потом по такому письму даже замуж вышла. Ну а еще посыпалась тогда на мою голову зависть. И подружек, и прочая – «комсомольская». Помню, как горько, болезненно это переживала. Втихомолку рыдала, растирая слезы по румяным щекам. Понять не могла – за что такая несправедливость? Уже потом, с годами, с мудростью попривыкла. Много поняла. Тем более что меня постоянно сопровождал, отравляя жизнь, этот желчный извечный человеческий грех – зависть. Помните, даже у великой Ахматовой? «Обкормили меня клеветой, обпоили отравой меня...» Или вот еще: «И всюду клевета сопутствовала мне...» Как сказано!

Откладываю в сторону яркую обложку старого журнала. (Ее в Москве долгие годы сохраняла бабушка.) Эта порывистая, восторженная девчонка со своей романтикой и неумной жаждой жизни навсегда канула в Лету.

...Вот опять фотография Васи: он в потрепанном пиджачке, в сапогах, на берегу островка, что посреди Катуня. С удочкой и большущим тайменем в руках. (Теперь уж такие в Катуня не водятся. Там все порываются построить ГЭС и уже скоро погубят заповедный Алтай.) Когда-то он просто позировал – весело, озорно, не представляя даже, что вскоре своим могучим творчеством (этим Божьим даром) будет кормить людей. Как Тот, который «двумя рыбами и пятью хлебами» накормил человечество. Здесь, на острове, молоденький Вася еще просто Шукшин-жилец, но уже грядет Шукшин-творец. И разрыв между ними, меж плотью и Духом, будет с годами все разрастаться. И, отставая, погибая телом, творец победит... А вот это фото известно, наверно, всем в России. Шукшин по-хозяйски сидит босиком на траве, на горе Пикет, откуда видны вправо и влево и его Сростки, и «Урожайный», и «Чуйский тракт до

монгольской границы», по которому вот уже семьдесят лет все едет и едет за девушкой Раей лихой шофер Колька Снегирев. С горы Пикет видно далеко-далеко. Над Шукшиным огромное бездонно-голубое небо. И тишина пространства. Тишина Божьего мира, которая заставляет говорить шепотом. Василий Макарович и в фильмах своих, и в книгах, и в жизни вообще не мог без высоты, без «воздушного пространства». Вот и тут он сидит не на Пикете. Он как бы сидит на земном шаре, буквально на его темени, на макушке. И притом – понимает это. Понимает, что неизбежно и скоро в России вор-уголовник застрелит тракториста Прокудина. Понимает, что на земле все равно Бандит убьет Пахаря. И с граем взлетит черное воронье над пустой, незасеянной, осиротевшей пашней. И тогда, как возмездье, наступит-таки конец света. А потом – обязательно, неотвратно – грянет и Божий суд. И уж там отвечать за грехи будет каждый. И каждый – лишь за себя. Там не отвертись, не кивнешь на другого. «Всем, Господи, воздашь Ты по делам их. Делах их рук и по грехам в их душах. И всех, не внемлющих Тебе, Ты не созиждешь вновь, когда разрушишь».

... Я думаю, Шукшин ушел вовремя – у Бога нет безвременной смерти – взяв предельную планку собственной высоты. И, думаю, не случайно он не снял фильма о Разине. Его тракторист, его Пахарь-кормилец, Егор Прокудин поднялся на ступень выше. Он много выше Разина-бунтаря. В чем бунте, кстати, в протесте, в разбое Шукшин так окончательно и не разобрался. Ни в книге своей, ни в дневниках, ни в сценарии. Да и разбираться после «Калины» уже не стоило. Хотя бунт, бесовство – всегда очень заманчиво. (Кого из великих не соблазнял, не прельщал образ бунта?!) Однако Шукшин не случайно не снял фильма о безбожном разбойнике. Это не Бондарчук, это Господь не дал ему этого сделать. Поскольку Шукшин уже свершил гораздо большее. Его Пахарь-Прокудин в «Калине красной», бывший бандит, нашел в себе силы подняться до Высшего – до Созидания, до Любви и Смирения Пахаря. Он получил наивысшее Божие послушание на земле – кормить людей хлебом насущным, а через это и Божьим Словом. За что и был бандитом, еще вчерашним сатрапом, убит. Каин убил-таки Авеля. Но в смерти этой и есть само Восхождение, само Бессмертие. И героя, и автора. И пока светит солнце, растет береза и зреет калина красная, людям надо жить не по разбоям, а по Любви и Высшим Божьим заповедям.

... Всмотриваюсь в потемневший, бездонный взгляд Шукшина на Пикете. Он и мудр, и гениально интуитивен, как полагается первопроходцу. Потомки будут его еще изучать. «На нем» напишут еще и книги, и защитят диссертации, используя и его, и чужие воспоминания и мысли. А на алтайской горе Пикет (скорее это огромный холм) поставят ему, наверное, памятник. А в Сростках, в избе Марии Сергеевны, дом-музей уже открыт. И стоит там в низенькой комнате с белой печью и голубыми оконцами, на полочке, среди прочих, и моя книжка. А по стенам в рамочках – «похвальные грамоты» и детская фотография брата с сестрой. Та самая, из 1955 года.

... При жизни Василий Макарович был как бы вне моды и вне политики. И, на мой взгляд, уже изначально, по высшей сути, был «обыкновенным» классиком. Начиная с его первых рассказов и книг: «Сельские жители», «Беседы при ясной луне». И даже не просто классиком, больше. Он стал Вехой, вершиной этого периода русской литературы. Как, например, Вехи своего времени – Чехов и Горький. Ибо Шукшин (как и они) открыл и закрепил в литературе совершенно нового, до него не бывшего в искусстве социально-множественного героя – крестьянина, шагнувшего в определенные годы из деревни в город. (Бунин, например, не открыл своего типа, социально нового героя, хотя проза его, на мой взгляд, может быть, даже самоценней, «дороже» чеховской.)

... Словно навсегда прощаясь, перебираю конверты... Конечно, особенно близка мне переписка Сына и Матери. Эти двое любили друг друга строго и нежно, по-божески. Марию Сергеевну Вася почитал свято, как родную землю, до нервного истощения. И тот покаянный, очищающий плач Любви, что прозвучал в «Калине красной» после свиданья Егора Прокудина

с брошенной им старухой-матерью, горел в его собственной груди, в сердце – всегда. Горел больно, неугасимо.

В быту считается, что читать чужие письма – зазорно, запретно. Это правильно. Но письма Гоголя, например, или Пушкина, и вот теперь Шукшина – они уже не чужие. Они – частица каждого из нас, наша совесть и наша гордость. Впервые Васины письма к матери я читала вместе с Марией Сергеевной, когда приезжала к ней в очередной раз в гости в Бийск. Настаивалась в щербатом чайничке заварка (новый, когда-то подаренный мной, берегся в буфете), на кружевной вязаной скатерти, в вазочке, солнечно рдело варенье – рыжее, облепиховое. Мария Сергеевна говорила неспешно: «Наша семья, в прошлом выходцы из России, жила строго, в уважение друг к другу. Уважительны были с родней, и с соседями, и со скотом. Вася любил людей как-то очень уж жалостно... да и скот, зверье всякое привечал. Как-то раз пойманная им рыбешка зажилась в кадучке с водой. Так он, мил, пошел и в Катунь ее выпустил. Как золотую рыбку. Это ей, говорит, за терпенье награда. Пусть живет, заслужила. – Она задумывается, подыскивая слово, поправляет тугую повязку поверх платка на больной голове. – Любил он все живое без меры». За шторками, за оконным стеклом метет в Бийске пурга, как четверть века назад, когда я школьницей впервые ступила на эту алтайскую землю. Слушаю глуховатый размеренный голос Марии Сергеевны. И к горлу подкатывает щемящий комок от любви и нежности к ней и ко всему прекрасному, но все-таки брэнному миру. Чтобы скрыть слезы, подвигаю варенье, принимаюсь разливать чай. И еще не знаю, что вижу эту дорогую мне женщину в последний раз.

...Комитет по Ленинским и Государственным премиям, который возглавлял литературный генерал, писатель Георгий Марков, наконец удостоил В. М. Шукшина премии. Проголосовали-таки. Конечно, посмертно, спустя время, когда «Калина красная» потрясла, покорила весь мир, стала классикой. Не дать премию было просто уже невозможно... Как-то, столкнувшись в ресторане ЦДЛ с грузным, рыхлым Юрием Верченко (были тогда в Союзе писателей эти два всеильных генсека от литературы: революционный романист Г. Марков, член Президиума ЦК КПСС, и его сатрап, «не пишущий писатель» Ю. Верченко), я сказала ему: «Вас можно поздравить... – Он не понял. – ...с премией Шукшину?..» Тот недовольно понизил голос: «Ну, видишь ли, – обращаться на «ты» было хорошим тоном, почти дружеским, – проживи он еще пару лет, мы бы имели с ним такие хлопоты. Такого бы диссидента получили – почище уехавших. – Он поднял толстый палец. – Заметь, инакомыслящего». – И тяжело задышал, уходя...

Мне подумалось: Бог мой! Конечно же, Шукшин мыслил и-на-ко. Совсем и всегда – инако. И никогда не сидел с ними в президиумах, где они были буквально прописаны. Он сидел на своей земле, на холме, босиком... А проживи он еще пару лет, он обязательно был бы в Храме. Он всегда шел по дороге к Храму. И подтверждением тому – его милосердие, все его упрямо восходящее творчество. В том числе и дневниковые записи. Его прекрасный образный русский язык, взятый от полуграмотной матери. Язык одновременно и молодой, и по-евангельски вечный. Для меня его короткие записи – как глотки свежей катунской воды. Вот например: «Добро – это доброе дело, это трудно, это не просто. Не хвалитесь добротой. Хотя бы не делайте зла». «Критическое отношение к себе – вот что делает человека по-настоящему умным». «Простая русская женщина-мать органически не способна ныть: любую невзгору, горе она переносит с достоинством...» «Самые наблюдательные люди – дети, потом художники». «Я воинственно берег свою нежность» (у Достоевского, помните: «Нужно молитвенно желать быть лучше»). «Человек, который дарит, хочет испытать радость. Нельзя ни в коем случае отнимать у него эту радость». «Всю жизнь свою рассматриваю как бой в три раунда: молодость, зрелость, старость. Два из этих раундов надо выиграть. Один я уже проиграл». «Я, как пахарь, прилаживаюсь к своему столу, закуриваю – начинаю работать. Это прекрасно». «Когда нам плохо, мы думаем: «А где-то кому-то хорошо». Когда нам хорошо, мы редко думаем: «Где-то кому-то плохо».

А вот последнее Васино письмо к матери. Он был смертельно болен, был охвачен безмерной тревогой (Бондарчук закрыл его «Разина», предложил сниматься в собственном фильме, были для тревог и другие причины): «Мама, родненькая моя! Я жив-здоров, все в порядке. Здоровье у меня – нормально. Вот увидишь в картине («Они сражались за Родину». – И. Р.), я даже поправился. Все хорошо, родная. Известия о твоих посылочках успел получить... Спасибо, хорошая моя. Дай Бог тебе здоровья. За меня не беспокойся. Я серьезно говорю, что хорошо себя чувствую. Ну, обнимаю тебя! Василий».

Через несколько дней его не стало. Он умер без свидетелей. Как официально считается, ненасильственной смертью (Бурков считал иначе и говорил мне об этом), ночью на съемках 2 октября 1974 года. Незадолго до этого написав, словно завещание, всем нам, пока остающимся на земле:

«...Уверуй, что все было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наше страдание – не отдавай всего этого за понюх табаку... Мы умели жить. Помни это. Будь человеком».

Звездный бульвар

Эссе

На 3-й Останкинской улице мы ловили ужей

Ирина Евгеньевна Ракша – прозаик, кинодраматург, журналист. Лауреат многих литературных премий, как то: «Золотое перо России», им. И. Бунина, им. В. Шукшина, им. Есенина. Кавалер государственных наград, в том числе ордена Дружбы (2008 г.). Её авторству принадлежит множество рассказов, новелл, романов: «Весь белый свет», «Сибирские повести», «Останкинские дубки»... Три года назад вышел её роман «Окрасился месяц багрянцем» – о Надежде Плевицкой, знаменитой певице начала XX века и бабушке писательницы. А ещё Ирина Ракша – вдова выдающегося русского художника Юрия Ракши. Он известен и как художник-постановщик фильмов, вошедших в классику отечественного кино: «Время, вперёд!», «Остаются живыми», «Дерсу Узала», «Восхождение» и других, – и как автор таких живописных полотен, как «Моя мама», «Земляничная поляна», «Разговор о будущем», триптиха «Поле Куликово», ныне находящихся в Третьяковской галерее. Своими воспоминаниями писательница поделилась с «ЗБ».

На месте Звездного бульвара был глубокий овраг

Детство писательницы прошло в Останкине, где она и родилась. Её родители, агрономы, вчерашние выпускники ТСХА, были приглашены работать на вновь построенную сельхозвыставку. Папа – директором павильона «Хлопок», юная мама – экскурсоводом.

– В довоенные годы Останкино – это была глухая и по-дачному зелёная московская окраина, – рассказывает она. – Наши двухэтажные деревянные бараки стояли близь Шереметевского дворца и ВСХВ (Всесоюзная сельскохозяйственная выставка), на берегу речки Горлинки, на 3-й Останкинской улице (ныне это проспект Королёва). Речка тогда уже сильно пересыхала. Но я проводила много счастливых часов на её песчаных, заросших осокой и камышом берегах. Была влюблена во всех её обитателей: синих стрекоз, головастика, ручейников и лягушек. Порой ловила красавцев ужей с желтыми щечками на головке, с радостью приносила их домой – показать испуганной маме, но потом всегда возвращала в реку. Наблюдала, как они счастливые удирают, уплывают по мелкой прохладной воде, как прячутся в зарослях... Потом в моей прозе, в мемуарах и моему Останкину, и этим ужам тоже найдётся место.

После войны, которую отец-танкист прошел почти до Берлина, Ирина вернулась с мамой домой из эвакуации, с Урала, и поступила в женскую школу № 271. Мальчики и девочки в те годы учились раздельно.

– Рядом с моей школой тогда проходил очень глубокий длинный овраг, по дну его текла другая, узкая, как мутный ручей, речка Каменка. Но мы называли её Тухлянкой, поскольку туда из местных домов, похожих на деревенские избы, сваливали все нечистоты, – вспоминает писательница. – Через овраг была перекинута огромная чугунная труба, по которой дети с Маломосковских улиц ходили в мою же школу, переходя с берега на берег. Иногда на трубе возникали битвы портфелями: кто кому уступит дорогу, кто кого свалит в овраг...

Особенно часто мы дрались с «элитой» – детьми из новых кирпичных престижных многоэтажных домов, выросших возле типографии Гознака. (Ныне это проспект Мира.) Мы же считались «останкинской шпаной» – с Останкинских улиц и переулков, с Хованской, что возле ВСХВ, от парка и дворца Шереметева. Но ещё круче была шпана с Казанки (улица Казанская). В тех бараках жили разные до- и послевоенные бомжи и беженцы, а также местные воры и жулики. Но с «казанскими» мы, «останкинские», дружили. И школы наши были поблизости. У девочек одна, у мальчишек другая...

Уже гораздо, гораздо позже на месте полностью засыпанного оврага появился, скорее, вырос, как феникс из пепла, Звёздный бульвар. И моя двести семьдесят первая школа, в которой я проучилась до девятого класса, оказалась уже не на берегу Тухлянки и оврага, а на живописном современном зелёном бульваре, в ряду с жилыми блочными новостройками.

Сбежала на целину

В школе она была отличницей. Обожала литературу и русский. Блестяще писала сочинения, которые учительница в классе часто зачитывала вслух. А писательский дар проявился у Ирины на алтайской целине, куда пятнадцатилетняя девушка вслед за отцом уехала по комсомольской путёвке. «Как-то, услышав по радио очередной горячий призыв к молодёжи – ехать на целину, я, наперекор маме и бабушке, буквально сбежала с родной 3-й Останкинской на Алтай, в Бийск, на Чуйский тракт, в предгорья Белухи», – пишет Ирина Ракша в автобиографическом рассказе «Голубочек мой ясный». Он посвящен также и памяти её алтайского друга Василия Шукшина.

К приезду Ирины в будущий совхоз «Урожайный», директором которого был назначен её отец, здесь стояло всего несколько палаток и вагончиков. А до шукшинских Сросток было рукой подать.

– Папа меня любил, но воспитывал очень строго, по-коммунистически. Совсем не выделял среди девчат-целинниц, на людях как бы даже не замечал. Порой мы не виделись с ним неделями. Да и жила я с девчонками в общежитии, – говорит она.

Ирина училась (закончила в местной деревенской школе десятый класс, получив аттестат зрелости) и работала – почтальоном (верхом на лошади возила почту), лаборантом на птицеферме, разнорабочей на лесоскладе. В марте 1956 года на обложке журнала «Советский Союз» № 3 печатается её портрет (знаменитый московский фотограф Яков Халип из всех ударниц труда выбрал для обложки именно её – румяную красавицу в ушанке и полушубке). Называется фото «На целинных землях Алтая». Затем, уехав в Канск, она работает на железной дороге, а потом и корреспондентом местной газеты. В 1957 году девушку наградили медалью «За освоение целинных земель».

Я обожала Светлова

Именно на Алтае и произошло судьбоносное знакомство москвички Ирины не только с семьёй Шукшиных, но и со знаменитым поэтом-классиком, автором бессмертной «Гренады», «Каховки», «Горизонта» Михаилом Аркадьевичем Светловым (М. А. Шейнкман), который много позже, когда она, вернувшись в Москву, уже была в Литинституте им. Горького его студенткой, горячо писал о ней. В обширном предисловии к её первой книге поэт написал: «Ирина! Я называю тебя талантливой. Смотри не подведи меня!»

А тогда он приехал в Сибирь на творческую встречу с первоцелинниками «Урожайного». Собирался написать пьесу. Да это и модно было – встречаться с тружениками села.

– Помню, свои первые публикации, стихи и очерки в местных газетах, я с гордостью вырезала и подклеивала в красивый альбом. Всерьёз думала: вот оно искусство! Вот она истинная литература! Этот альбом я, волнуясь конечно, и показала как-то высокому гостю. Однако Светлов, сидя со мной в общежитском вагончике, листал его, как мне показалось, небрежно и, наконец, глядя на кудрявую румяную девчонку в пропыленной майке и шароварах, с лукавством произнёс: «А ты, я вижу, не дура». О-о, я была буквально ошарашена. Схватив альбом, я рванулась и убежала подальше в степь и там, рухнув лицом в полынь, долго-долго рыдала. Было страшно обидно, что великий и так любимый мною поэт, стихи которого я могла часами читать наизусть, так оскорбил, так не понял меня, не оценил, даже не прочитал ни строчки, – с улыбкой вспоминает Ирина Евгеньевна. – И только много позже я поняла, что это был скорее комплимент юной девушке.

Уже потом по приглашению мастера она училась у него в Литинституте, была слушателем в его мастерской, вместе с поэтессами Жирмунской, Румарчук, Ахмадулиной. Писала, носила ему на суд свои курсовые работы и журнальные публикации, слушала его рассказы о Маяковском, Есенине, Пастернаке. Позже написала трогательный, полный любви и света рассказ-воспоминание «Про Светлова. И пара слов о Маяковском».

– Я обожала этого великого и немного смешного, согбенного, с худыми крючковатыми пальцами человека, полного мудрости и яркого остроумия, – говорит писательница. – Мы дружили почти десять лет, до 1964 года, когда его на земле не стало. Но на небе мы обязательно встретимся... Думаю, что этот большой советский поэт-классик безусловно недооценен критикой, литературоведами. И ещё я думаю, что я не подвела его.

Юрочка взял мою фамилию

Во время учёбы во ВГИКе на сценарном факультете Ирина Ракша познакомилась со своим будущим мужем. Юрий учился там же, но на художественном факультете.

– Он был очень скромным, порой застенчивым юношей. Но остроумным, светлым. Просто человек-праздник. А главное – был ярко одарён, буквально от Бога. Блистательно и писал, и рисовал. Я сразу его поняла, почувствовала сердцем. Мы были нищими студентами. Жили на стипендии, но как-то весело и светло. Порой, чтобы подработать и купить мне цветы, Юра на станции «Москва-Сортировочная» или «Маленковская», что неподалёку от общежития, разгружал по ночам вагоны. Выматывался страшно. Но зато в конторе железной дороги с утра деньги сразу платили наличными. Он более года упорно, красиво ухаживал за мной, – с удовольствием вспоминает Ирина. – Родился Юра в простой, даже бедной семье. В таких же бараках, как и я, только в Уфе, на окраине. Мама, которую он очень любил, работала разнорабочей «на фанерке», в горячем цеху на фанерной фабрике. Когда во ВГИКе мы познакомились, Юра носил фамилию отца-отчима (Теребилов), которого недолюбливал, и потому после нашей веселой студенческой общежитской свадьбы взял мою фамилию. Сперва как псевдоним, картины подписывал, а после рождения нашей дочки Анюты и паспорт сменил. Кстати, в переводе с древнего санскрита «ракша» означает «защита», «охрана», «оборона». На юго-востоке России есть даже древний городок (и станция) под названием Ракша, он как бы «застава, защита от разорений и набегов кочевников». Как, например, на Кавказе был назван Грозный.

Юрия Михайловича Ракши не стало 1 сентября 1980 года. В своей книге-альбоме «Художник и муза» Ирина писала: «Жизнь художника закончилась у мольберта с последним мазком кисти, завершившим его знаменитый триптих, полотно «Поле Куликово». Юра шел к этой великой работе, к этой высокой теме, к образам святых – Сергия Радонежского, Пересвета, Осляби, Рублёва, княгини Евдокии, князя Димитрия – буквально всю жизнь. Центральную часть он назвал «Предстояние». Это подвиг русского воинства (после битвы на Куликовом поле ополченцы восемь дней хоронили своих убитых). Это и княжеский подвиг – вот она на полотне, минута прощания Бренка и князя Димитрия перед боем, перед смертью и бессмертием. Но это был подвиг и самого художника. Неизлечимо, смертельно больной, преодолевая постоянную боль и муки, почти за год Юрий написал и успел завершить великое полотно. И посвятил его победе русских героев, защитивших и отстаивших родную землю».

Самая звёздная в мире семья

Через несколько лет после кончины сорокадвухлетнего художника учёными-астрономами РАН вновь открытая на звездном небе планета № 3032 (пояс астероидов между Марсом и Юпитером) была названа «в честь выдающегося русского художника Юрия Михайловича Ракши» и получила имя Ракша. А спустя годы, в 1993 году, новая планета № 5083, летящая по небосклону совсем рядом с Ракшой, получила имя в честь «высоких достижений в области литературы и искусства» писательницы Ирины Евгеньевны Ракши и навсегда была названа Ири나라. И утверждена в Международном планетарном центре США, штат Массачусетс.

В 2008 году в Книге рекордов России на стр. 90–92, иллюстрированных живописью Ю. Ракши, можно прочесть статью «Самая звездная в мире семья». И действительно, кроме звездных имён жены и мужа, в иные годы и другими учёными РАН (Институт астрономии) вновь открытая планета № 4229 была названа Плевицкая – «в честь великой русской певицы начала XX века Надежды Плевицкой», погибшей в начале Отечественной войны во Франции, – бабушки писательницы И. Е. Ракши. Так неожиданно и независимо друг от друга на небе встретились члены одной русской семьи, своим творчеством ярко обогатившие культуру родного Отечества.

Подготовила И. К.

...И ушла в солнечный день

Очерк

Когда я слышу имя кинорежиссёра Ларисы Шепитько, сразу же возникает щемящее чувство печали от ранней утраты. И она почему-то вспоминается мне юной, порывистой студенткой ВГИКа, длинноногой и стройной. В институтских аудиториях и коридорах, в просмотрных залах или в очереди в наш вгиковский буфет, где незабвенная наша буфетчица тетя Галя, горячо любившая «своих» студентов, часто отпускала нам еду в долг, до очередной стипендии. И в её долговой книге, почти амбарной, с зелеными линованными страницами, напротив каждой из наших фамилий стояли значки, этикие «крестики-нолики». Например: Юрий Ракша или Лариса Шепитько: сосиски – 8, винегрет – 6, яйца варёные – 10 и далее – Климов и Кеосаян, Лужина и Польских, Васильева и Говорухин, Губенко и Володарский... Столько-то взяли чаёв, столько компотов, а столько-то винегретов. В день стипендии всё это каждому подсчитывалось на звонких деревянных костяшках счетов. И вскоре всё начиналось по новой.

Свою работу во ВГИКе, в этом «храме искусств», буфетчица тетя Галя, тихая простолюдинка из Марьиной рощи, считала за Божий дар. Порой вкалывала по две смены, готовя и продавая студентам еду. А снежными зимами, когда в ночь-полночь не ходили трамваи, могла топтать домой по морозу пешком в суконных ботиках через всё Останкино. Вдоль ограды сельскохозяйственной выставки, мимо огромной фигуры «Рабочего и колхозницы», вознесших под тёмное небо свои тяжкие серп и молот. Одинокая тетя Галя по-матерински свято любила наш шумный и нищий разнокалиберный молодец. Гордилась им, поскольку была уверена, что все, приехавшие в Москву учиться с разных концов, обязательно станут великими, популярными – гордостью нации и кино. И она, гордясь, будет покупать в киосках их фотооткрытки и будет вещать «знакомые лица», словно родных, у себя над кроватью. И будет чувствовать: во всем этом есть и её заслуга, бездетной тети Гали, «вскормившей» их. И плюс ещё несколько поколений...

Спустя многие-многое годы я как-то заехала в институт по делам. Заглянула и в столовую, такую знакомую, даже родную, с «греческими» колоннами и высокими окнами. Увидела: в зале столики уже иные, добротные, не алюминиевые, и богатые новые шторы на окнах. А за буфетной стойкой ловко резала хлеб и отпускала студентам еду уже другая, молоденькая буфетчица. Я спросила: «Скажите, а тетя Галя что? Не работает? Она тут нас когда-то кормила». Буфетчица живо, охотно откликнулась. Заглянула в открытую дверь подсобки и крикнула громко: «Тётъ Галь! А тётъ Галь!.. Выдь-ка! Тебя тут спрашивают!» В дверях не сразу, но появилась-таки седенькая худая старушка в белой, празднично насахаренной наколке, но в потертом и мокром клеёнчатом фартуке, с намыленными по локоть руками. Подслеповато щурясь, она всё старалась меня разглядеть, всё старалась узнать. Но нет, нет. Так всё-таки и не узнала. «Да вы не огорчайтесь, – не отрывалась от дел своих новенькая. – Она и не видит уже, и не слышит. А уходить не хочет никак. Вот посудомойкой работает». Я молча купила сардельки и винегрет и, сев у окна за дорогой полированный стол, задумчиво наблюдала жизнь нового, незнакомого поколения. Слушала неумолчный шум посуды, говор и споры юных создателей будущего кино. И почему-то вспомнила поэтическое: «Гул затих. Я вышел на подмости. / Прислонясь к дверному косяку, / Я ловлю в далёком отголоске, / Что случится на моём веку...»

А с Ларисой Шепитько мы учились на разных факультетах, на разных курсах и в разные годы. В том смысле, что она была старше и потому училась раньше, когда я в вуз только пришла. Но ВГИК – институт такой маленький, а обучение такое «штучное» (на курсе обычно человек пятнадцать, а защищаются и того меньше – человек восемь – десять), что мы знали друг друга отлично – по спорту, по общежитию, по общим просмотрам и факультативам. Лариса

закончила режиссерский факультет у легендарного мастера Ромма (а начала у Довженко), мой муж Юра Ракша – художественно-постановочный у Богородского и Богданова (правда, живописи учился у советского классика Пименова. Помните его полотно «Москва майская»: советская дама за рулём открытого автомобиля 30-х годов возле Большого театра?) На выпускном экзамене Пименов Юре сказал: «Ты обязательно станешь живописцем». Так оно и вышло. (И теперь в Третьяковке картины и Пименова, и Ракши в одном отделе.) Я закончила сценарный с отличием: начинала у великого Евгения Иосифовича Габриловича (но он из института скоро ушел), а затем пять лет училась у киносценариста Валентина Ивановича Ежова («Баллада о солдате», «Белое солнце пустыни» и пр.). Талантливый был человек Валя Ежов, к тому же из молодых да ранних, уже профессор. А старше нас был всего-то лет на десять – пятнадцать. Громогласный и большеносый, по-русски разбитной весельчак. Он всегда много пил и, приходя раз в неделю в институт, в аудиторию, «вести мастерство», не терзал нас занудством лекций, а, перевернув стул и сев на него верхом, травил байки. Развлекал зелёных, в большинстве провинциальных ребят всякими киношными анекдотами. Особенно про границу, где в те годы за железным занавесом никто из смертных не мог побывать, а он, почти классик, уже возил с делегациями на фестивали и в Европу, и в Штаты свои фильмы. Однажды Ежов даже принес из дома показать нам необычайный (кажется, мексиканский) приз, полученный им за «Балладу о солдате». Достал из портфеля большой такой газетный сверток и положил на кафедральный стол. В нём, к нашему восторгу, оказалась лихая такая шляпа – сомбреро, с широкими загнутыми полями. Но не простая шляпа, а тяжеленная, металлическая. Обступив стол, мы с завистью вертели её в руках, стучали по ней, «примеряли» на головы – алюминиево-блестящую, отлитую из «чистого серебра», как горячо уверял нас Ежов!.. Вот ведь, думали мы, что можно, оказывается, заполучить за хороший сценарий! Да к тому же где – за границей! А ещё мы любили бывать по его приглашению у него дома, в многоэтажке у метро «Аэропорт». И гостеприимная, в чистом фартучке жена его Лёся (почему-то не Люся), тоже драматург (!) и наша любимица, всегда угощала голодных студентов деликатесами из профессорского холодильника. А юный сын их исподволь наблюдал, как мы в кухне жадно это всё уплетаем, заглываем, запивая чаем. Ну а потом... Потом случилась для нас неприятность. Кончилась наша «малина». Ежов вдруг разошелся с Лёсей, своей ровесницей, и женился на нашей ровеснице, тоже студентке, Вике Федоровой с актерского, симпатичной и голенастой. Стал то и дело, к неудовольствию декана, пропускать занятия. Поскольку они с юной женой стали вместе... пить. То есть пьянствовать. И, жутко ревнуя друг друга, даже скандалят по ресторанам. То в ЦДЛ их увидишь, то в Доме кино потасовку устроят с опрокидыванием столов. Но Вика вовремя остановилась и эмигрировала в Штаты к отцу-американцу. А наш Валя Ежов сразу сник, месяцами не бывал в институте. А потом случилась трагедия. Маму Вики – популярную актрису Зою Федорову – застрелили в её квартире в высотке на Котельнической набережной. Говорили, из-за каких-то бриллиантов. И в России Вика больше не появлялась.

А вообще-то во ВГИКе в те годы школа была блестящая. Режиссерское и актёрское мастерство вели Герасимов и Макарова, Ромм и Телегина. Приходили преподавать ещё живые великие основатели советской киношколы – Лев Кулешов и его жена-старуха, Александра Хохлова, прима немого кино. Смешная, крикливая и худющая как скелет. Он нежно звал её Аля. Шаркая ногами, эта музейная пара обычно еле-еле двигалась по институтскому коридору. Хохлова всегда впереди, в каких-то ярких полуоткрытых шелках, лысая, с редкими прядками огненно-рыжих волос. «Ну куда ты несёшься так, Аля? – вскинув руку, зывал старик. – Не спеши так. Мы успеваем. Звонка ещё не было». А студенты, стремглав обгоняя их, мчались по коридорам в их аудиторию, и народу там набивалось полно до жути, до духоты. Ещё бы! Эти старики работали с Эйзенштейном! И до него! И даже до революции! Они не просто живая страница истории: они не писали – они проживали её.

И операторское мастерство преподавали тоже асы. Тиссе и Головня, Косматов и Кармен. Иностранный язык, эстетику, историю кино и театра вели профессора – легендарный Виктор Шкловский (друг Маяковского), Фрадкин, Кнабе, молодая тогда Паола Волкова. И нам просто стыдно было не впитывать их уроки и знания...

Когда мы с Юрочкой поженились (подгадав, расписались в день защиты его диплома), первая наша кооперативная квартирка после моего барака в Останкино была в хрущёвке (или «хрущобе») на Преображенке, на пятом этаже, где, правда, потолки промерзали... Но на это было плевать, и плевать, что без лифта. Мы наскребли на неё первый «пай», накопили и вот – купили. Ах, какая была это радость – своя квартира, собственное гнездо! И Лариса, приходя к нам в гости, взлетала туда легко и красиво, перескакивая через две ступеньки. На длинных спортивных ногах. Она всегда была худая, поджарая, плоская. С прямыми, как у супермодели, плечами. В Москву она приехала с Западной Украины, со Львовщины, из простой семьи. И сперва жила в общежитии. Она рано рассталась с прекрасными толстыми «провинциальными» косами и потом многие годы модно коротко стриглась под мальчика, при разговоре встряхивая крашеной рыжеволосой прической.

Помню, все годы нашего знакомства она упрямо уговаривала моего Юру стать художником-постановщиком на её фильмах. И на «Крылья» (с Майей Булгаковой) звала, и на «Ты и я» (с Визбором). Она была умница и рано поняла, что успех картины, а значит, и её, режиссера, зависит от соратников, от команды. А главное, от «упряжки», от тройки, от двух пристяжных – главного оператора и художника-постановщика. Но Юра, тоже работая на «Мосфильме», был занят с другими режиссерами, и надо сказать, прекрасными. Работал с несравненным Михаилом Абрамовичем Швейцером на фильме «Время, вперёд!», с Владимиром Монаховым («Остаются живыми»), с гениальным японцем Акирой Куросавой на «Дерсу Узала» (премия США «Оскар»). Который, кстати, зная Юрину живопись по выставкам живописи в Токио, сам разыскал его, приехав на работу в Москву. И был несказанно рад, когда директор «Мосфильма», разглядывая привезённые Куросавой Юрины репродукции, воскликнул: «Так чего искать? Ракша ведь у нас в штате работает! Давайте вызовем, предложим. Неужели откажется с Куросавой работать?!» А вот с Шепитько соединиться у Юры всё как-то не получалось, не совпадало.

Позже, в семидесятые, Лариса часто бывала у нас уже в новой квартире, на «Аэропорте». Собирались мы там уже не в клетушках, а в двадцатиметровой (тоже купленной) мастерской на чердаке семнадцатизэтажного дома со звучным названием «Драматург». О-о, кто только у нас там в гостях не бывал! И киношники, и поэты, и музыканты. Читали талантливые стихи, песни пели, жарко спорили, танцевали. Было время оттепели. И на наши головы хлынул поток ранее запрещенного – Замятин и Цветаева, Есенин и Бунин, Мандельштам и Гумилёв. На катушках магнитофона «Днепр» звучали все, что из Сан-Ремо. Модуньо и Далида, Джанни Моранди и «Адриано Челентанорок-н-рольщик из Милана», Тото Кутуньо. Потом Джо Дассен, Азнавур. И своих слушали из первых рук. Окуджава и Высоцкий, Кохановский и Галич, потом Бачурин. Володя Высоцкий приходил в мастерскую с Севой Абдуловым и болгаркой Диной Наковой. Бывали и великие поэты – Кайсын Кулиев, Гамзатов, Карим, Давид Кугультинов. Юра не раз рисовал их портреты, даже собирался написать полотно «Народные поэты». Бывали и настоящие музыканты – Богдан Троцюк (он жил неподалёку), Лёша Артемьев (который почему-то стал называться Эдуардом), Журбин, органист Олег Янченко. Этот за пианино прекрасно импровизировал. Да так волшебным образом, что все заслушивались. Приходил несколько раз и легендарный композитор Покрасс. Да-да, Дмитрий Яковлевич. (Братьев Покрассов было четверо, и все музыканты; мы удивлялись с мужем: как вообще они могли уцелеть в репрессивные довоенные и послевоенные годы?! Просто загадка и чудо!) Уже старенький, толстенький, он охотно садился на круглую крутящуюся табуретку за наше старинное пианино Zimmermann и, ударив по клавишам сразу всеми похожими на сардельки пальчиками, выдавал всем нам свою визит-

ную карточку – «Марш Буденного». (Может, из-за марша этого и уцелел?) Картавя и искренне смеялся над собой, он запевал свою знаменитую песню времен Гражданской войны. Голосок дребезжал, был старческий, но уверенный: «Мы кГасные кавалеГисты, и про нас / Былинники речистые ведут Гасказ – / О том, как в ночи ясные, о том, как в дни ненастные / Мы смело, мы смело в бой идём.» Звук «р» он по-еврейски не выговаривал и потому, даже бравируя этим, смеялся сам и не стеснялся потешать нас, молодых. Аккомпанировал себе и пел он громко, а мы, стоя вокруг, радостным хором подхватывали: «Веди, Буденный, нас смелее в бой! / Пусть гром гремит, пускай пожар кругом. / Мы беззаветные герои все. /И с нами ВоГошилов – первый кГасный офицер. / Сумеет кГовь пролить за СССР...» Играл он и джаз, всякие там фокстроты и танго, которые, кстати, сочинял его родной брат, тоже композитор, но где-то за океаном (он ещё до войны эмигрировал в Штаты). А мы под «нелегальную» музыку парами легко танцевали вокруг, не боясь ни стуков в пол, ни доносов соседей. А легендарный Покрасс вместе с нами молодец и веселился так звонко, так искренне, словно для него наступал момент Истины. А себя ощущал не только дирижером и центром внимания, а почти центром Вселенной.

Редко, но играл нам на гитаре и Юра Визбор, негромко и романтично. Я несколько лет с ним работала в «Экране» на телестудии в Останкино. Он в музыкальной редакции, я – в сценарном отделе... А вот ещё было чудо. На наши музыкальные посиделки приносила из своего дома (благо с соседней Красноармейской улицы) свою антикварную арфу арфистка Ирочка Коткина из музтеатра Станиславского. Обычно мой Юра тащил эту тяжелую золоченую ношу, как некую драгоценность, на плече, на широкой ляжке. И над его головой причудливо, лебединой шеей выгибалась золотая головка арфы. Так они и топали к нам в «Драматург» пешком два квартала втроём – Ира, Юра и арфа. И все прохожие, конечно, оглядывались с удивлённым восторгом. Ещё бы – столько сразу струн, красоты и золота! (Сейчас Ира играет в Гамбурге, в оркестре, а жаль, не в Москве.) Бывал у нас в гостях и модный в те годы изящный ансамбль (трио), который создал незаурядный Володя Щукин – он служил тогда музработником в Таганском театре. У него было выразительное, живописное лицо поэта, задумчивого, нездешнего, отрешенного от мира сего. (Юра не раз рисовал и писал Володю на своих полотнах. Это и «Разговор о будущем», и триптих «Поле Куликово» и другие, так что образ музыканта Щукина давно уже в Третьяковке.)

Однако среди рабочих будней и повседневных семейных тягот случались у нас и воистину грандиозные «набеги» на мастерскую. Приезжал, например, из Ленинграда режиссер ТЮЗа, знаменитый талант и выдумщик Зиновий Яковлевич Корогодский, и всегда не один. То с юным сыном-художником, которому очень нравилась моя дочь Анечка, а то и с целым созвездием из своей легендарной труппы – Тоней Шурановой (помните графиню фон Мекк в фильме «Чайковский» или княжну Марью Болконскую в «Войне и мире»?), с изящной Ирочкой Соколовой – вскинув лёгкие руки над головой, словно рожки, она представляла нам оленёнка Бэмби. С Сашей Хочинским – дивным, бархатным баритоном (мужем Шурановой), который мог, сев за фортепиано, весь вечер упоённо играть и петь вместе с Юрой классические романсы и русские народные песни. А однажды Корогодский неслыханно одарил нас – руководил ходом отрывков из пьесы «Бэмби» (поставленной у него в ТЮЗе). Его актеры тут же разыгрывали сцену за сценой в стометровой нашей мастерской, среди Юриных картин, холстов и мольбертов. Это был редкий праздник! А Юрочка одаривал их всех рисунками и портретами, сделанными тут же, пастелью на листах ватмана. Вот Бэмби, вот Коровушка, вот пума Багира, вот сам Зиновий Яковлевич... (Где-то и ныне, верно, висят по квартирам уже стареющих ленинградских актрис прекрасные те портреты!) Ну а я? Я всё успевала. А главное – одаривала всех ужином, с блинами. Ах, сколько же с ними возни! Зато сытно, и бюджет наш мог выдержать такие нашествия. Так что я одаривала всех ужином, обычно плавно переходящим в завтрак. Уже спокойный, с душевной беседой, тихим говором за столом, с щебетом птиц за окнами. Летом в Москве рассветает рано. И лучи солнца первыми заглядывают на верхние этажи.

И, надо сказать, на этих посиделках (как теперь говорят, тусовках) часто бывала и Лариса Шепитько. Во всяком случае, старалась бывать. Она умела заводить профессиональные связи. У неё вообще был нюх на таланты. Да и актёры её особенно интересовали. Для дела. Позволив нам или кому-то из общих друзей и всё разузнав, она тотчас приезжала к нам на «Аэропорт» и могла без усталости оставаться всю ночь напролёт – живая, яркая, рыжеволосая. Она любила одарённых людей, легко сходилась со всеми, легко вписывалась в любую компанию. Хотя сама для окружающих не была ни открытой, ни доступной. Однако умело провоцировала всех на контакт, на откровения. Любила дразнить женщин, кокетничая с их мужьями. Обычно она бывала у нас без Элема. В последние годы их семейная жизнь как-то не очень складывалась. Хотя у них уже была и новая роскошная квартира (составленная из двух соседних), и рос любимый маленький сын, которого она с таким трудом родила на свет (вечные её проблемы с позвоночником!), и которого потом она так мало видела из-за продолжительных киносъёмок, и которого практически воспитывала бабушка. Но у её мужа, режиссера Элема Климова, человека делового, рационального и порой сумрачного (в будущем даже руководителя Союза кинематографистов), запуски и сдачи фильмов, падения и взлёты часто не совпадали с Ларисиними. Он в работе часто и по разным причинам бывал в простоях. Это очень болезненное для любого киношника слово. А Лариса, напротив, постоянно горела, научилась ладить с начальством, была всегда заряжена на работу, заряжена на успех и даже на славу. Словно был в её большом позвоночнике какой-то негибачый стержень. Зато в молодости о творчестве Элема отличника знал во ВГИКе каждый студент. Его курсовую работу – милую короткометражку «Жиних» (именно «жи», а не «Жених»), трогательный этюд о любви двух первоклашек – не видел только ленивый. Её, как удачный пример режиссерской работы, показывали каждому новому курсу, наверно, лет двадцать подряд. А может, ещё и нынче крутят.

Они поженились с Элемом поздно. Лариса ещё в институте безумно влюбилась в этого поджарого красавца с бесстрастным лицом, спокойно-жесткого, как бы хладносердого, и упорно его добивалась. А это было непросто. (Хотя спустя годы все постарается почему-то об этом забыть.) Но у москвича Климова (выходца из семьи «правильных» коммунистов – высоких партийных работников) до Ларисы была другая, вполне благополучная собственная семья. Жена тоже вгиковка – успешная сценаристка Соня Давыдова (все её звали просто Сонечка), пышная, уравновешенная и симпатичная, а главное – мудрая. Но Ларисе было всё нипочём. Она так влюбилась в него, и напор её танковый был так силен, что Климов не устоял. Просто не мог устоять. Сдался. Помню выездной двухнедельный «Семинар молодых» в Софрино, в санатории, организованный тогдашним министром культуры Екатериной Фурцевой и ЦК комсомола. После дневных занятий с мастерами по группам (поэты, писатели, художники, киношники) нам, «молодым талантам», давалось до ужина свободное время. И на баскетбольной и волейбольной площадках становилось так шумно, так людно и так азартно, что поболеть туда собирались не только семинаристы, но и соседние дачники, и даже ближние деревенские. Элем и Лариса были под стать друг другу – ловки, стройны и высоки, и, вместе играя в волейбол на площадке «киношников» (против, к примеру, «художников»), они рядом так гармонично смотрелись, так умело передавали пасы и так били подачи, а в прыжках, «гася» мяч через сетку, так красиво изгибали тела, что восторги болельщиков и победа были им обеспечены. И вскоре ясно стало: Сонечке Давыдовой тут делать нечего.

Сегодня, спустя десятилетия, я с нежностью вспоминаю те годы. Они были и трудны, и хлопотны, и несвободны, и вовсе не сыты: каждая копейка доставалась с трудом, но это была Наша жизнь, Наша молодость. И наши вера, надежда, любовь, раскинув крыла, постоянно, без усталости парили тогда над нами. До сих пор удивляюсь: откуда у нас бралось столько сил? С вечера мы с Юрой составляли каждому по списку дел. В десять – пятнадцать пунктов. И как-то всё успевали. И ещё оставались силы, озорство и задор на вечерние встречи. Даже на шумные игры. Затемно, когда за окнами мастерской россыпями огней сияла ночная Москва,

мы с Юрой, как дети (в суровом, военном детстве, видно, не доиграли), затевали с гостями всякие всячины. Играли в прятки, в фанты-шарады, в жмурки, в салочки, и даже в «третий лишний». И были так талантливо беззаботны, беспечны и так изобретательны, словно впереди у каждого было бессмертие. А заводилой при этом (кроме, конечно, нас) часто бывала Лариса – вечная командирша и режиссер по призванию. Наблюдать за ней, такой пластичной и легкой, такой хитроумной в общении, было одно удовольствие. Редко когда Господь с такой щедростью одаривал женщину. И красота, и ум, и талант! Это богатство так и искрилось, так поминутно всем и дарилось!..

Иногда мы играли в прятки. На бутылку сладкого «Вишнёвого пунша». Крепких напитков тогда никто даже не покупал. Обычно самой маленькой в компании была наша вгиковка с режиссерского факультета – черненькая, лукавая, словно изящная кукла, Люция Джалиль. Из Казани. (Старшая дочь легендарного татарского поэта Мусы Джалиля, замученного в войну фашистами.) Постриженная под мальчика, милая и уступчивая, с глазами-вишенками, она ничего не снимала, но всех любила и всех вокруг обожала! Да и мы её, такую антикварную, тоже. Но Ларису маленькая Люция почему-то раздражала, возможно, своей противоположностью. И ещё тем, что за ней, этой крошкой, ухаживал наш друг – художник Слава Рассохин. Огромный толстяк и добряк. А лидер-Лариса не терпела соперниц. А может, ещё потому, что Люция постоянно выигрывала в прятки. Была победителем. Водящему невозможно было её отыскать в большой мастерской. А коронное место нашей подруги было не за плотной шторой на подоконнике (как у Юры), не на диване за подушками у стены, не в шкафу или под столом, а... в ванной комнате. Она ложилась на самое дно белой ванны, и я сверху накрывала её белой же простынёй. Ну а водящий в игре, впопыхах, конечно, мельком заглянув в ванную комнату, бежал искать дальше. «Раз-два-три-четыре-пять, я иду искать!» Вот так наша трезвенница Люция Джалиль то и дело выигрывала по бутылке «Вишнёвого пунша» и с гордостью угощала нас в конце вечера...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.